Путевой журнал
Василий Голованов
Остров,
или оправдание
бессмысленных
путешествий

Василий Ярославович Голованов

Остров

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=145445

Аннотация

В центре сюжета этой книги – невыдуманная история о том, как поиски смысла жизни приводят героя на край света, на пустынный заполярный остров в Баренцевом море, который неожиданно становится территорией спасения, территорией любви и источником вдохновения.

Автор книги и на этот раз сумел использовать жанр эссе для создания совершенно оригинального произведения, вовлекая своего читателя в мифотворческое – но отнюдь не мифическое! – путешествие, в результате которого рождается «невыдуманный роман».

Содержание

I. Книга Мечты 4
Ночь 4
Апология бессмысленных путешествий 10
Петр 17
II. Книга Бегства 23
Между «теперь» и «никогда» 23
Бегство 29
Стрелок и беглец 47
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Василий Голованов
Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий

«…От Чоши 15 верст речка Голубница; от Голубницы 15 верст речка Перепуск.
От Перепуска 20 верст; речка Вижас; от Вижаса 27 верст река Вама.
От Вамы 10 верст 2 речки, обе Снапницы,
От Снапниц 30 верст река Пеша.
А в Пешу пала из горы из Большого Камени река Пояса.
Большого Камени вдоль до моря 230 верст.
А от устья реки Пеши, морским ходом 25 верст Река Малая Пеша.

От Малыя Пеши речка Решительница; от Решительницы 30 верст река Лонга; от Лонги 30 верст река Сая.

От Саи 30 верст река Чорная; от Чорнои 30 верст река Васильева; а на устье тое реки гора Большой Камень прилегла к морю.

А по другои стороне того камени пала в море речка; от тои речки 20 верст река Индега, течет поперег Камени горы, Меньшого Камени, протоку тое реки 170 верст.

От Индеги 20 верст речка Железная; от Железныя реки, речка Горностай.

А промеж тех речек на море остров Святой Нос, вдоль по тому острову 30 верст; а против Святого Носу на море остров Калгуев; а от Калгуева до морского берегу 120 верст; а из Калгуева острова текут в море 3 реки: Бугрянка, да река Вялимка, да река…

А вдоль по тому острову 100 верст, а поперег 50 верст…»
«Книга Большому Чертежу», 1627.

I. Книга Мечты

Ночь

В ледяном гостиничном номере. Под двумя одеялами. В шерстяных спортивных штанах. Ночь. Дождь за окном.

Зачем? Зачем всё это? – я чувствую вдруг, что хочу есть, хочу принять горячий душ.

Что я ищу? Остров? Но он открыт задолго до меня. Остров – моя нелепая выдумка, и не нужно богатого воображения, чтобы представить себе, что там. Плоскость. Тундра. Серое низкое небо, изрытое, как пашня, тёмными облаками. Тусклое жестяное солнце, которое за тучами и не увидишь ни разу. Чахлые травинки, дрожащие на ветру, аптечные ромашки – триумф летнего полноцветия… Запах сырости, болота повсюду, и морской берег – с запахом только глины, ибо вода почему-то не пахнет. Желтая, ледяная…

В остальном же всё, должно быть, так же, как здесь, в Нарьян-Маре, только еще хуже. Такой же холод, та же нищета…

Второй день в гостинице не топят и нет воды. Я набираю воду из колонки на улице в котелок. Утром хватает воды умыться, сполоснуть унитаз, вскипятить чай. Вечером – умыться, смочить полотенце для обтирания, слить унитаз, вскипятить чай. На втором этаже гостиницы есть дверь с надписью «буфет». Ни разу не видел её открытой. А ведь это новая, самая дорогая в городе гостиница. Лучшая…

Опять брюзжу. Ночью малодушные мысли заходят в голову, как косяки рыбы. Иногда стая больше, иногда меньше. Иногда вообще ничего не соображаешь: так всё трепещется и блестит всякими опасениями, будто мелкая селедка пошла.

Это всё из-за того, что приходится ждать вертолет в чужом городе. К тому же, москвичи не умеют ждать. Журналисты – особенно.

Я знаю: настоящие мысли всегда появляются *после*. После того, как дело сделано. И нет никакого смысла обращать внимание на эти косяки рыб. Но у меня гайморит. Я физически страдаю от холода. И этот дождь день за днем…

А потом, что это говорил Корепанов про то, что на острове существует как бы два параллельных времени – трезвое и пьяное? И что во второе лучше не попадать… И что чем интереснее, чем обаятельнее человек в трезвом состоянии, тем ужаснее будет он в пьяном… Эта мысль фундаментальнее, чем кажется. Корепанов знает, что говорит: три года он прожил на острове председателем. Запомнился почему-то его рассказ, как остров просыпается к жизни весной: мартовское солнце заливает льды чистым розовым светом и посреди оглушающей тишины вдруг в темной промоине моря тяжело бьет хвостом белуха… Про каких-то подземных человечков… Про нож…

Нож… К этому я как-то совсем не был готов. Я, откровенно говоря, боюсь. Романтический замысел моего путешествия вышел насквозь лживым: нет ничего менее романтического, чем сегодняшний Север. И я боюсь теперь, что не найду того, что надеялся найти. Omnia praeclara rara[1]. Я был предупрежден древними. И за два тысячелетия европейской истории мало что изменилось, разве что для выражения старых истин мы пользуемся теперь новыми языками: «The beauty is a rare thing»[2]. Даже в музыке, чёрт возьми. По тому, что я читал о Севере, казалось возможным отыскать здесь следы некоей *первозданной* красоты. А из того, что мне открылось, ясно, что встретиться, скорее всего, придётся с чем-то очень тягостным, может быть даже опасным, как этот нож в руке пьяного…

Опять. Это косяк рыбы. Гони его! Бей веслом по воде, сидя на плоту гостиничной койки! Прочь, мелкота, прочь!

Спрыгиваю с плота и, осторожно ступая босыми ногами по ледяному дну, подхожу к окну. В подслеповатой мгле дождя – серые бараки Нарьян-Мара. Чужой город, в который меня зачем-то занесло… Нет. Я приехал по своей воле. В поисках. Надо спокойно понять: в поисках чего? Смыслов. Смыслов человеческой жизни. Пусть это звучит до глупости высокопарно, но что делать, если мы действительно поставлены лицом к лицу с бессмысленностью существования?

Потому что война – это уже серьезно, это бессмыслица всерьез. Тысячи людей убиты. Уничтожены друг другом. Лишены смысла. В Сумгаите. В Карабахе. В Баку… Список будет разрастаться, как раковая опухоль. Семья, дом, мир отдельного человека, его усердие и радость лишены смысла, смерть собирает свою жатву. Надо смотреть в глаза правде: в глаза нищих, в глаза беженцев, полные отчаяния, в остывшие глаза убитых. *Человеческая жизнь не стоит ни гроша.* В настоящей цене власть. Деньги. Сырьё. Оружие.

---

[1] Всё прекрасное редко (лат.).

[2] Красота – редкая штука (англ.). Фраза принадлежит пионеру фри-джаза Орнетту Коулмену.

В настоящей цене, как ни странно, всё, что уродует, коверкает жизнь, запутывает её, рушит, не давая ей подняться, не давая схватиться камням кладки, не давая окрепнуть молодым росткам. У ненависти свои законы. Мы снова живем на краю времён…

Я не верю в «права человека», но верю в то, что человек стоит своей человечности. Убитый или обездоленный, лишенный своей доли, судьбы человек – это торжество бессмыслицы и смерти. Во имя чего не пролилась только кровь! Даже во имя Господа. Того, кто собирает людей в человечество, обездоленные призывают, чтобы крепче ненавидеть друг друга. И им удаётся, они вмещают в душу ненависть, черную, как смола. Ибо душа обречена быть вместилищем – если не любви, то ненависти. Если не смысла, то бессмыслицы…

К чему это я?

Два дня назад я увидел на улице человека, который, дождавшись недолгого перерыва в дожде, приколачивал к стенке сарая на дворе шест с новеньким скворечником наверху. Закончив работу, он несколько раз пристукнул молотком по шляпкам крепко всаженных в дерево гвоздей и удовлетворенно погладил шест ладонью, как бы удостоверяясь, что хорошо завершил доброе дело. Я шел в столовую на конец города и, с голоду что ли, ужасно мёрз, и поэтому сразу подумал, что вряд ли скворцы воспользуются гостеприимством этого человека. Уж больно коротко и промозгло здесь лето. Да и август уже – все птицы давно вывели птенцов, им улетать пора, а не искать для гнезда себе место…

Я остановился и спросил, прилетают ли скворцы в эти края.

– Нет, никогда не прилетают, – спокойно ответил он и, сунув в карман молоток, пошел к дому, не желая продолжать никчемный разговор.

Что же, бессмыслицей было деяние этого человека? Нет. Оно было его памятью о радости весны, принесенной на трепещущих крыльях скворцов из Индии и Персии, о радостном биении чистых, как родник, голосов жизни в саду родительского дома или в роще на краю давным-давно оставленного им городка, где птичий гомон перекатывается как эхо среди чуть-чуть запушившихся зеленью деревьев. Скворцы никогда не прилетят в его скворечник. Но сам скворечник – это его молитва о полноте, о весеннем половодье жизни.

О чем молится стрелок, нажимая на курок автомата? О смерти. О том, чтобы больше стало подобных ему, обездоленных – потому что только они, выдранные с корнем из своей земли, потерявшие судьбу, способны разделять хлеб ненависти друг с другом. Здесь, в Нарьян-Маре, я по радио узнал о начале войны в Абхазии. Об ополченцах и «правительственных войсках», о бомбовом ударе, нанесенным по городу самолетами без опознавательных знаков. О том, что из автоматов расстреляны все обезьяны в Сухумском обезьяньем питомнике… Почему-то это особенно поразило… Я понимаю: после того, что случилось потом в Средней Азии и в Чечне, об обезьянах невозможно, вроде бы, говорить. И тем не менее. Гибралтарское поверье, что город будет стоять до тех пор, пока в нем живут берберские макаки, наполняется неожиданным смыслом. Не станет обезьян – и город падёт…

Почему? Нам не дано знать.

Но вот прошло три года. В Сухуми среди развалин ютятся люди. По многу часов стоят в бесконечных очередях за краюхой липкого непропеченного хлеба. Подбирают окурки. Мимозы, платаны, пальмы – срублены на дрова. О прежних кофейнях на берегу моря напоминают разве что дыры в асфальте на тех местах, где прежде летом устанавливали полосатые тенты с бахромой. Ржавые остовы разбитых катеров и автомобилей валяются на пляже. Прежде цветущие поселки выжжены, покинуты людьми, одичавшие псы сношаются средь развалин. Прекрасные особняки стоят почерневшие от дыма пожаров, с провалившимися крышами, как гигантские термитники. Песчаник стен обнажился из-под штукатурки, словно камень понял, что время служения его человеку закончилось, и ему хочется вернуться в дикую жизнь природы, в её нескончаемый круговорот…

Это расплата. Не только за обезьян, но и за них тоже. Во всяком случае, за ненависть, избранную душою в поводыри.

Война начинается там, где люди хотят войны. Не знаю для чего. Может быть, чтоб пред лицом врага вновь почувствовать кровную сплоченность народа? Или чтобы вкусить запретную радость преступления? Или чтобы в боях отыскать достойных вождей себе?

Но только в самом ли деле есть в преступлении радость? В самом ли деле стали люди народом в результате этой войны? И появился ли у народа вождь, которому он мог бы верить?

Может быть, война начинается, чтобы люди в конце концов вспомнили о Боге, который творит из обездоленных человечество. Но как долго суждено ей длиться, чтобы люди исторгли проповедников ненависти из рядов своих? О, до этого далеко… Сухуми еще не разрушен. Мужчины в пятнистых рубахах с закатанными рукавами и с автоматами в сильных руках только-только еще распалились, они исполнены радости бездумной и жестокой игры и еще не догадываются, что война не обойдет никого. Никого из них тоже. Что автомат – хорошая машина для убийства, но плохая защита. От смерти близкого человека. От холода, одиночества, отчаяния, бессмыслицы…

Пока еще лето, жарко. Полно овец в чужих дворах, вина в чужих подвалах. Еще кажется, что стоит выбить врага из-за плетня вон того виноградника – и всё. Будет одержана победа…

Что противопоставить этому?

У меня с собою две книги: дневники Михаила Пришвина и сборник прекрасных рассказов Бориса Шергина о мастерах Севера: корабельщиках, судоводителях, сказочниках, плотниках, промысловиках. Ни один стоящий человек, кажется, не обойден его вниманием. Большая книга, неудобно таскать с собой, а пришлось купить: в Москве такую не найдешь, а книга удивительна. Именно размышлениями о человеческом предназначении. И у Пришвина то же: постоянное вопрошание о смысле жизни и через это вопрошание – поразительное погружение вглубь себя, в жизнь природы. Смыслы жизни – они как цветы в траве, хоть и не прячутся, но сплошь тоже не попадаются, чтоб человек их искал, вынужден был искать…

«…Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг… на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера…»

Шергин производит впечатление какой-то необыкновенной человеческой целостности, неразъятости. Нигде, в дневнике даже, не обнаружишь в нём никакой трещины, никакого излома, без которого не мыслим уже современный писатель…

А Пришвин очень мучился, прежде чем дошел до спокойного понимания себя и своей задачи, много испытывал, проверял себя – сближением с самыми разными людьми, путешествиями. У него много записей, особенно в молодые годы, которые поражают безысходным внутренним драматизмом, и следа которого нет в зрелости, когда это душевное мучение изжито. Вот такая, например, сделанная им в странствиях по Азии: «нужно умереть от себя…» Все его молодые путешествия тоже умирание от себя, «ура» – по-киргизски – особый пост от всего привычного. В том числе и от привычного себя тоже: в путешествиях он много узнал о себе такого, что позволило ему потом исцелиться от боли, стать целостным человеком. В записях этого периода есть что-то для меня самого очень важное…

Вчера утром пошел на Печору, к порту, где заметил еще в день приезда старый дом. Почерневший, большой дом, с окнами, выходившими когда-то прямо на реку, но теперь уставленными в длинный забор портового склада. Мне интересно стало – есть ли кто? И непонятно. На крыше взялся расти мох и ромашки. Огородик не возделан, и только крошечная грядка с выпустившимися зонтиками укропа говорила о том, что в доме все же кто-то живёт, доживает. И тут как раз в пристроечке отворилась низкая дверка и из неё выглянула

сухонькая старушка в белом платке. Я её позвал, слово за слово – пригласила в дом, угостила чаем с морошковым вареньем, покормила сёмгой.

Стала рассказывать.

Про то, как давным-давно Печора разлилась как моря, и она, со своим еще дедом, изумленная огромностью водного зеркала, плыла, будто летела, над лугами, над покосами, над зарослями прибрежных кустов…

«Дедушко, где берег-то?» Не было берега, только лодка скользит в прозрачной голубизне, дедка и внучка сидят в лодке…

Про мужа своего, что взял её из деревни в город. Кажется, она и не задумывалась вовсе, хорошо они жили или худо, счастливо или нет. Просто жизнь была трудная, и они вместе преодолевали эту трудность, будто выгребали против течения. А поразительно стало ей, когда его не стало. И когда она поняла, что не было любимее, надежнее, роднее человека на свете…

Он на работу уходил на трое суток: бакены ставили и проверяли на реке, створы. Однажды собрался на вахту. Взял собранный женой мешок с едой. Попрощался. Вышел. Всё как всегда. Но едва он дверь затворил, её будто ожгло: тоска. Тоска по счастью, которого никогда больше не будет. Бросилась за мужем в портовую контору – нет его. На причал – нет. Судно ушло уже на Печору. А через три дня принесли его домой мертвого. Он незадолго как-то на голову пожаловался: что давит, болит. А так не жаловался никогда ни на что…

Подбила, навсегда сделала её слабой на сердце смерть четырнадцатилетнего сына, которого она очень ждала, и любила, пока рос, особенно, может быть, потому, что он в мать пошел худеньким, тонкокостным. И вот, он покупался в Печоре, продрог, пока обсыхал с ребятами у костра, стал кашлять. И не могла вылечить, потому что ходила на работу, не могла ухаживать, только таблетки давала – и всё. Когда забрали его в больницу, выяснилось воспаление лёгких, и стал он хужеть неделя от недели – потому что мальчик большой, положили во взрослую палату, а там мужики курят всё время, ему невмоготу. «Мне что-то плохо здесь стало, мама…»

– А потом карантин у них стал: привезли двух мужиков, с брюшным ли тифом, что ли, с Коткина. Я к главврачу пошла, чтоб забрать его, сколько лежит, а всё его не вылечивают, а тут еще этот тиф… «Отдайте мне», – говорю… «Нет, – отвечает, – он тяжелый, мы не можем таких отправлять, такие отеки большие стали…»

Я смотрю: живот у него поднялся, всё… Спрашиваю: «Дак он что, умрёт сейчас?»

Умер. Месяц я не спала. На семь килограммов похудала…

Диктофон у меня, как назло, накануне сломался, кнопку записи приходится держать пальцем. Если держать полтора часа, то палец изнемогает до дрожи, ноет. Но я хочу понять, из чего сложилась жизнь человека, что памятно до старости, что самое главное в ней?

Ей приснился сон: край леса. И куст дикой смородины – весь красный, до того осыпан ягодами. Прошло время. Она поехала в Марицу, деревню, откуда родом, пошла в лес. И вот, вышла на дувиху, на сенокос и обмерла: потому что увидела то самое место, из своего сна. Опушку ту и тот самый куст, весь красный от осыпавших его ягод. Край леса: много зеленого, провалы тени меж деревьев, травы качаются – и этот куст, сверкающий как пламя…

Так что же было в жизни, если оглянуться вспять? Разлив Печоры в детстве, смерть мужа, поразившая её невозможностью любить его дальше, смерть сына, сделавшая бесполезной её материнство – и этот сон, который сбылся.

Почему так, я не знаю. Но что добавишь к этому: «дедушко, где берег-то?» Полые воды залили землю, птицам гнезда негде свить…

Послезавтра, нет, завтра уже – у меня вертолет. Я должен увидеть свой остров. Зачем-то. Зачем – я пойму уже после того, как увижу. Я не уверен, что делаю всё правильно и

наилучшим образом, но пока я созидаю свой остров, собираю его из собственных мечтаний, книжных цитат и обрывочных рассказов о нём, я живу. Он должен сбыться.

«Созидаю»! Я вновь прыгаю на плот гостиничной койки и засыпаю, укрывшись с головой одеялом…

Апология бессмысленных путешествий

Друг мой Петр, мой верный попутчик! Я хочу, чтобы ты знал, как появился остров. Как он становится необходимостью и встает из пучины серым окоемом не тронутого утренним солнцем пляжа, за которым, словно занавес, смыкается полог пышного леса, простирающегося до самых гор вдали. Или вот – проступает в тумане, пронизанном резкими голосами потревоженных чаек, полоской низкой бурой земли, разбегающейся во все стороны в какой-то торжественной безнадежности и бесприютности. Веришь ли ты, что это – один и тот же остров, остров моей мечты? Я и сам не пойму, ловя в кармане пуховки задубевшими пальцами коробок спичек, как совершилась столь разительная метаморфоза, я и сам еще в недоумении обшариваю взглядом безрадостный берег, в надежде разглядеть хоть одно деревцо, хоть один холм, с которого можно было бы обозреть открывающуюся нам окрестность – но ничего. Мы бредем в бродняхпо мелкой воде, проталкивая вперед лодку со снаряжением, заглушив мотор, чтоб не сломать винт. Вокруг на несколько километров – пространства такой же мелкой, тусклой воды. Туман, сквозь который тщится пробиться солнце. Вдруг с липкой глинистой отмели, что тянется все время по правую руку, не пуская нас к берегу, гогоча, кидается в воду огромная стая белощеких казарок – и я просыпаюсь. Ледяной туман, от которого лубенеет и делается неподвижным лицо, оказывается теплыми отблесками огня, потрескивающего в железной печке; отсыревшая одежда сушится на веревке возле трубы, коленом изгибающейся под потолком; возле двери вместо веника прислонены к стене два гусиных крыла, а на сколоченном из досок столе под маленьким оконцем – закопченная кастрюля, над которой клубится ароматный пар только сваренного супа…

Теперь, когда мы насытились, мой верный друг, и живительное тепло разлилось по всему телу и чайник пищит и гулко охает на печке, готовясь закипеть, я, пожалуй, рад был бы пофилософствовать, но сам понимаешь: крепкий горячий чай – это наилучшее философствование из всех возможных.

Крепкий, черный, горячий чай… Я молчу. Но я мог бы сказать! Следи за случаем, Петр, следи за случаем, юноша, ибо случай – отец судьбы. Усмехайся, усмехайся – но я знаю, что говорю. И я жил, полагая, что волен распоряжаться собою. И со мною происходили события, казавшиеся абсолютно случайными (как все в молодости, я думал, что мог бы прочитать другую книгу, или встретиться с другим человеком, или придти раньше, или опоздать, и тогда то-то случилось бы, а того-то не произошло бы). Но потом оказывается, что ничего подобного: я должен был прочитать именно эту книгу (и, во всяком случае, именно её прочитал) и встретился именно с тем, с кем повстречался. Взрослость вообще отличается от юношества тем, что стремится все случайности прожитой жизни выстроить в порядок необходимости: и так в один прекрасный день обнаруживается, что ты обставлен случайностями, как шахматный король, и, чтобы ускользнуть от мата, должен сделать совершенно определенный поступок. Скажем, отправиться на остров, с которым тебя ничего, ровным счетом ничего вроде бы не связывает…

Ты мне не веришь, а это воистину так. Поэтому я и говорю: следи за случаем, Петр! Следи, чтобы горячий чай не проливался тебе на штаны, ибо случай – зерно причинности, ждущее дальнейшего воплощения… Да-да-да, именно это я и хотел сказать: чем толще штаны, тем дольше и нестерпимее будет кипяток жечь твою ногу!

Случайно ли, что первой самостоятельно прочитанной мною книгой был «Робинзон Крузо»? Что проку гадать, раз так было? Первая книга не забывается, и я полюбил ее и, значит, полюбил остров. Ибо, как бы ни рвался домой Робинзон, в жизни его не было ничего лучше тех двадцати восьми лет, что он провел на острове, куда случай забросил его и который он вынужден был полюбить. Да, полюбить! И автор понимает это. Больше того, не

отягощенный всеми теми заботами, которые обременяли и печаловали Робинзона, он временами воспевает проникновенную хвалу острову, который предстает перед нами то развернутой цитатой из книги Бытия как твердь среди вод, то как земной прообраз Рая, то как метафора полной независимости и абсолютной свободы человека.

У острова есть своя поэтическая родословная, как есть она у гор, рек, пещер, гротов, возделанных полей и прочих мест, обладающих для человека особенной привлекательностью. Отъединенность, инаковость, замкнутость, тайна – вот первое, что приходит на ум, когда речь заходит об острове. Чувства, которые дарит остров, несоизмеримы с теми, что рождаются в уединении на вершинах гор, но от этого притягательность островов не ослабевает. Об этом прекрасно знают мальчишки и литераторы, и в этом мы с тобой ничем не отличаемся ни от тех, ни от других. Прежде всего нам следует почтительно склонить головы перед Р.Л.Стивенсоном, который вполне и в совершенстве выразил романтическую концепцию острова в своем «Острове сокровищ». После Дефо и Стивенсона Жюлю Верну для усиления «таинственности» острова пришлось привнести в повествование фантастические детали, чем он соблазнил и увлек в сторону целую ветвь писательского рода, сделав своих последователей неисправимыми фантастами. Но остров, какое искушение!

У истоков традиции – «Одиссея» Гомера и «Энеида» Вергилия. Повстречавшиеся островитянину Одиссею острова не просто загадочны, они смертельно опасны. Одиссей – царь на Итаке, но над каждым островом, встающим на пути его странствий, царствует кто-то другой, каждый остров – царство, находящееся в полной власти своего властителя, не обязательно, при этом, человека.

В раннем Средневековье появляется еще один мотив: поиска, непреодолимого стремления к острову, затерянному где-то в пустыне моря и еще не открытому. Вектор движения бороздящего моря корабля направлен теперь не к дому, а от него, к неведомой земле, которая представляется землей блаженства. Эта земля заставляет долгие годы скитаться по морям святого Брандана-Мореплавателя, которого и святым то делает, собственно, его неутомимое странничество. Как и скитания Энея, его плавания уподоблены духовному деланию, бесконечной молитве. Впрочем, Брандан утверждал, что видел остров, на который спускаются ангелы. Возможно, он и в самом деле нашел его, хотя те из позднейших исследователей, кто поверил в реальность его духовных миражей, все же не смогли подтвердить, что такой действительно существует.

Получившие необыкновенную популярность в эпоху великих географических открытий выдуманные описания выдуманных же путешествий, переполненные вопиющими небывальщинами, уродами, карлами, описаниями чудес или нелепых обычаев, в конце концов дали плоды в виде беспощадных сатир Свифта, Рабле, расселивших по островам своих карликов, великанов, гуингнмов и макреонов. Утопия – тоже остров и тоже целиком нафантазированный. Томас Мор написал сатиру наизнанку: образ идеального общества.

Но остров! Остров не может служить лишь сатире, даже если в ней упражняется такой мастер, как Анатоль Франс. Остров зовет художников и поэтов, таясь, как женщина, и, как женщина, мечтая быть открытым и воспетым. В 1843 году с борта американского китобойца на один из Маркизских островов бежит Герман Мелвилл – никому не известный автор еще не написанной книги «Моби Дик», который открывает в гигантской книге островов столь важную для нас тему бегства. Бегства от жестокого устава промысловой службы, бегства от мира, от пошлости человеческих отношений, необходимости принять буржуазные законы и обычаи, бегства от всего. Остров из средоточия опасностей превращается в территорию спасения, становится последней возможностью уцелеть, отыскать истинно человеческие отношения, прикоснуться к величию природы. Сначала для Мелвилла, потом для Гогена («Ноа Ноа»), потом для Рокуэлла Кента, которому в поисках подлинности приходится отступать

все дальше от цивилизации – к ледникам Гренландии, чтобы написать свою северную идиллию, «Саламина».

Бегство, и чаще всего бегство неудавшееся, рай, так и не обретенный, сокровище, так и не найденное – ноты, которые окрашивают тревогой уже книги Мелвилла и Гогена – в полную силу звучат в произведениях двух современных романистов, в которых магия острова задает невиданное напряжение действию. Это «Волхв» Дж. Фаулза, который через две тысячи лет после «Одиссеи» и «Энеиды» возвращает нас в Средиземноморье, где под спудом забвения и солнечного сна ждут своего продолжения и нового воплощения древние мифы, и классическая история беглеца, попавшего в ловушку острова в романе «Восток есть Восток» американца Т. Корагессана-Бойла.

Во всяком случае, я полюбил остров как идею раньше, чем впервые побывал на каком бы то ни было острове.

Так случай уловил меня в первую ловушку. Скоро я попался и во вторую: мечту совершить путешествие. В этом тоже нет ничего особенного, все мальчишки мечтают путешествовать. Причем, заметь, именно путешествовать – подвергать себя опасностям, ползти, идти, изнемогая от тяжести или жажды, измерять собою пространство, породнясь с ним и отдавая ему, по закону родства, и силы, и отчаяние, и восторг свой, чтобы взамен получить нечто, чему я даже не знаю имени, но обладателями чего никогда не станут туристы, как из аквариума глядящие из автобуса на достопримечательности Москвы, Парижа или Лондона. Пространство одарит тебя неисчислимыми богатствами. Пространство сделает тебя человеком…

Но где справедливость? За пять веков, минувших со времени колумбовых открытий, Земля до такой степени изведана, истоптана и с кропотливейшей серьезностью описана тысячами людей, которым повезло родиться раньше, что у нас, кажется, не осталось ни малейшего шанса пережить восторг первооткрывателя, впервые ступившего на безвестный берег. Отчаяние! Все современные путешествия своей нарочитостью напоминают знаменитую прогулку в лодке трех героев Джерома К.Джерома, и в этом смысле сугубо литературны. Но если смириться с этим, то что за беда? Вырастая из мира книг, путешествие в него же и возвращается: это особый жанр литературы или кино, и ничем иным сейчас оно не оправдано перед человечеством. Все современные путешественники прекрасно понимают это – и команда Кусто, сделавшая своим домом корабль, само имя которого звучит, как гомерово эхо, «Калипсо», и Р. Месснер, в одиночку покоривший Эверест, и М. Сифр, обитатель темных пещерных глубин. Все они должны отчитаться перед человечеством в том, что им довелось пережить, иначе люди отвернутся от них как от скупердяев, присвоивших себе общее богатство. Они должны вернуть людям тайну.

Два или три столетия подряд ученые только тем и занимались, что составляли и систематизировали гигантские описи всего, что только есть на Земле. И вот, все стало известным. Все стало, более того, доступным. И тайна исчезла. Кого остановят сейчас Геркулесовы столпы? Кто скажет, что за туманом у берегов Норвегии нет больше «ни земли, ни неба»? Сама Сахара сдалась человеку, превратившись в гигантский автополигон ралли Париж-Дакар, сама амазонская сельва оказалась беспомощной перед титанической техникой, которая рвет ее на куски, сдирает с земли, добираясь до недр, до залежей оловянных и марганцевых руд…

Утрата тайны невосполнима. Но знаешь ли ты, что значит имя «Калипсо»? «Та, что скрывает». Путешественники XX века ищут не разгадок, а загадок, или, на худой конец, приключений на свою голову, чтобы спасти человечество от кошмара всеведения и самодовольства. Над тем же, мой друг, колдуем и мы, добровольно перенесясь из столицы на край отдаленной глинистой отмели, чтобы оставить на ней отпечатки наших сапог.

Я давно запутался в своем чайном философствовании и сбился с пути разговора. Я говорил о случае. И тут вот какая связь: начитавшись книг, я сам мечтал отправиться на край света, но не знал – куда. И тут мне попался географический атлас с белыми пятнами: что это, как не ловушка случая? Настоящие белые пятна – это было потрясающе! Все сразу обрушилось на меня: неизвестность, надежда, вызов. Обещание небывалого, дьявольский искус – все, что ни случится там, случится только с тобой, подлинность всех ощущений гарантирована, никаких туристических суррогатов, никакой телевизионной подмены…

Вообще-то это был старый, чрезвычайно добротный немецкий атлас мира 1927 года. Карты Европы, Африки, Океании, особенно земель и провинций, на которые Германия могла бы претендовать, как на бывшие свои владения, были оттиснуты на бумаге с такой окончательной и не подлежащей никакому сомнению подробностью, что казались гравюрами искуснейшего мастера-миниатюриста. Но вдруг – исчезали тонко прорезанные сечения рельефа, линии утрачивали определенность, обнаруживая ученическую неуверенность картографов. Вот приблизительно, точками, обозначена линия морского побережья. Реки – одни только устья, далее пунктиром. Озеро – огромное, раз в пять больше Женевского, самого большого в Европе – обведено какою-то совершенно предположительной линией. Больше – ничего. Белизна. Неизвестность. Таймыр: четыреста тысяч квадратных километров неизвестности.

Я понимал, конечно, что 1927 год давно миновал и все без исключения пробелы на заполярных картах уже заполнены. Но если атлас и был необходим случаю, то лишь для того, чтобы задать курс: норд. Все-таки север есть север, ни один толстожопый турист со своей проклятой видеокамерой не сунется сюда, чтобы запечатлеться на фоне «достопримечательностей». Слишком суров север, чтобы человек мог позволить себе здесь праздное самодовольство. Слишком огромен, чтобы здесь могли оставаться неизменными масштабы наших забот и поводов для волнений. Ибо воистину мал человек здесь и огромны обступающие его пространства, неисчислимы озера, глубоководны реки и неподвижно-холодны болота…

О севере я ничего не знал. Я был репортером отдела новостей в газете, и единственное, что меня отличало от собратьев – и отличало, безусловно в худшую сторону, так как все сильнее мешало работать, – это навязчивое желание совершить собственное путешествие. Я задыхался в газетных сплетнях. Я стал ненавидеть их. Я искал спасения в картах, как заклинания, проговаривая экзотические топонимы: горы Быранга, 1146 метров, ледники. Таймыр. Слишком сложно для человека, не обладающего никакими экспедиционными навыками. Водопад Саханина. Звучит красиво. Если спускаться вниз по реке, то километрах в восемнадцати будет балок. От него дорога. Но это – Новая Земля, гигантский архипелаг Минобороны, Зона, полюс недоступности… Губа Колоколова, маяк, Чаичьи острова, поселок Нижний Шар – нежилой. Какое-то потрясающее месиво из земли и воды, верховых болот, морских отмелей, озер и речушек. Ни тропы, ни пристани, ни жилья, ни людей – сотни километров холодного песчаного пляжа. Вот он – край мира…

Я был исполнен неуверенности в собственных силах и непонимания того, каким образом отмыкается это пространство. Но тут случай вновь выступил обольстителем – я попал на Соловки. Соловки очаровывают ведь, и человек, впервые попавший на север через Соловки, да еще в хорошее, погожее лето – он, конечно, человек околдованный, больной, совершенно не понимающий реальности того, что открывается ему. Скрученные ветром, как на японских рисунках, сосны, трогательные мелкорослые березы, заросшие цветами луга, боры-беломошники и открытые пространства тундры, из рыжей шкуры которой, как заскорузлые наросты, проступают валуны, обкипевшие желтым и серым лишайником, – все, вплоть до отражений заброшенных храмов в темной озерной воде и дрожащей лесной тишины, сопут-

ствующей человеку, скользящему в лодке по водам каналов, прорытых когда-то монахами вглубь острова, – все принимает очарованный за чистую монету, думая, что это и есть север.

То ли телевизор приучил нас к этому, Петя? Замки Франции, карнавал в Рио, жизнь мангровых зарослей Борнео и ночной африканской саванны – все стало доступно и сразу обесценилось. И уже не видишь, не можешь понять, что Соловки – это место особое, что Савватий и Зосима не вдруг причалили лодью свою к этим берегам, что здесь прекрасное спрессовано до невероятной плотности, будто эту щепоть Земли Господь монтировал как фильм, из одних лишь чарующих видов, словно специально созданных для созерцания и молитвы. И нет здесь случайного вида, нет постройки, которая бы окнами глядела в пространство зряшно, нет храма, который не красил бы собою горку, островок или тихий морской залив. Конечно, Соловки – это яхонт голубой, за пять веков человеком отполированный до небесной чистоты, и не может быть весь остальной север таков же, хоть, может, в иных местах летними ночами и полыхает небо, как хвост жар-птицы, и так же лишается камень в тундре.

И вот, ничего этого не умея понять, едва сойдя с теплохода в Архангельске, сразу же в порту я поспешил к расписанию поглядеть: куда бы мне отправиться еще? Ибо после Соловков вопрос казался решенным: север был самым сильным впечатлением в моей жизни – и, значит, сюда мне и надлежало стремиться. Куда в точности, я не знал, но мне понравился рейс теплохода «Юшар» из Архангельска в Нарьян-Мар с заходом на остров Колгуев. Всего сутки шел до острова теплоход, оставляя по борту на материке почти первозданнодикие места. Но я подумал, что остров – не такой уж маленький остров в Баренцевом море – это как раз то, что мне нужно…

Чем хороша мечта? Тем, что сбывается не сразу. Она живет в глубине сердца, согревая его надеждой. Я вернулся в Москву. За суетой я быстро забыл про остров. Но случай уже сделал свое дело: оставалось теперь просто ждать, когда я исполню то, что мне предначертано.

Верь судьбе, Петя, и подкинь дров в печь! Дрова потрескивают, огонь веселыми кудрявыми стружками отлетает от поленьев и гудит в трубе: это сбывается то, чему было суждено.

Поверь, я тянул время, сколько мог. Я попытался бросить репортерство, уехал на Камчатку и завербовался в промысловый рейс матросом-обработчиком. В последний день перед отплытием я сбежал с корабля на берег, испугавшись…

Я убеждал себя, что потрошить рыбу в трюме ржавой плавучей фабрики – совсем не то, что плыть на корабле Лаперуза, и в этом был прав. Но – странное дело – неумение, да, как выяснилось, и нежелание что-либо менять в своей жизни удручающе и гнетуще подействовали на меня. Оказалось, что я ничего не умею, кроме того, что должны уметь журналисты. Иначе говоря, звонить по телефону, добывать новости и комментарии, курить, пить кофе, болтать обо всем с видом человека, которому известно это все или даже чуточку больше и видеть мир раздробленным на клеточки пригодных или непригодных для публикации сюжетов… Я вернулся домой совершенно разбитым. Я не знал, как осуществить свою мечту.

Прошло несколько лет. В моей жизни все разладилось. Я развелся с женой. Я пытался совершенствоваться в ремесле, устроился в самую престижную газету того времени, писал серьезные статьи. Начальство хвалило меня, но мне становилось страшно от собственной серьезности, от языка, который даже на бумаге, казалось, звучит с какими-то нудными старческими интонациями…

Люди, присылавшие отклики на мои статьи, никогда не давали мне меньше сорока лет, а мне было только двадцать семь.

Я понял, что состарился и умираю. Ужас сковал меня.

И вот в одну из ночей, когда мы с приятелем сидели на кухне, спасаясь от страха вином, я принялся рассказывать. Я призвал не отчаиваться: ибо у нас есть еще шанс прожить жизнь по-человечески. Остров. Надо отправиться туда. Надо все это увидеть: гору Паарков, озеро Кривое, речку Гусиную, священные холмы…

Мой друг слушал меня внимательно. Потом поднял отяжелевшие веки и посмотрел мне в глаза:

– Все это фигня. Нет такого острова…

Что было толку спорить? Я раздобыл крупномасштабную карту и разглядел остров своей надежды внимательнее. Он сразу привлек меня завершенностью формы: почти круглый, слегка подмятый с боков, как стершаяся старинная монета. Зелененький: низменность. Действительно, несколько речек, озера, холмы. Странные открытые песчаные участки… Все, что нужно для маленькой модели мира.

На юге и на востоке, подобно двум слабым клешням, с моря остров прикрывают длинные песчаные косы – Плоские Кошки. На южной Кошке обозначена изба – промысловая, что ли? Вдруг страшно захотелось очутиться там, в этой избе, между землей и небом, когда вокруг ничего не видать, кроме сурового моря, и ничего не слыхать, кроме криков птиц… Мне хотелось забиться туда и оставаться там неделю, месяц… Сжаться. «Умереть от себя».

Мне хотелось убежать туда навсегда – тогда как надо было всего-навсего поехать. Ты не поверишь, но прежде, чем это произошло, прошло еще два года. Кто после этого скажет, что Одиссей, девять лет проведший в плену своей нерешительности у нимфы Калипсо, не родственник нам по духу сомнений?

Мне хотелось отправиться на остров с кем-нибудь, и казалось, что я легко найду себе попутчика. Действительно, большинство знакомых с восторгом реагировали на предложение поучаствовать в настоящей северной одиссее. Вопросы начинались потом: а что мы увидим? Что там есть? Можно сделать фильм? Фоторепортаж? О чем? О чем кроме природы?

Я не знал ответов на эти вопросы. Я очень многого не учел. Не учел, что время путешествий «просто так» закончилось. Поэтому многим затея с островом представлялась сущей бредятиной и пустой тратой времени. Действительно, они не обязаны были думать так же, как я. А тут еще грянул августовский путч и внимание и пишущих, и читающих было всецело поглощено событиями, которые из 1991-го потянулись к 1993-му и дальше. Поэтому все мои попытки отвлечь внимание коллег на какой-то остров только раздражали их.

Кончилось тем, что одна замечательная журналистка, с которой я вместе работал в «Литературке», выслушав одну из подобных жалоб, беспощадно усмехнувшись, сказала:

– Ты так долго болтаешь о своем острове, что, пожалуй никогда на него не попадешь…

В этот момент я прозрел. Было начало августа 1992 года.

Я позвонил в Архангельск и узнал, что теплоходная линия Архангельск – Нарьян-Мар упразднена. Билетов на самолет до Нарьян-Мара, как назло, не было. Еще был вариант на поезде – до города Печора, а оттуда до Нарьян-Мара на теплоходе вниз по реке – самой древней дорогой, которой шли когда-то на север первопроходцы…

Я купил билет и отправился. Один. Без подготовки – что потом сказалось, конечно. Так, у меня был с собой немецкий молотый кофе «Alvorada», на деле оказавшийся грязным, пережженным, ни на что не годным порошком, и сигареты «Gitanes» без фильтра – в этом смысле я был экипирован ничуть не хуже супермена из рекламного ролика сигарет «Кэмел». Но вот зимнюю куртку я с собою не взял, думая, что отделаюсь толстым свитером и штормовкой…

Понимаешь, все это глупо, но я почувствовал, что… Что в другой раз может быть и не решусь и так и останусь навсегда всекоквалифицированным сплетником прогресса. Я

никогда не совершу своего путешествия, никогда не скажу своего слова и даже не узнаю, какое оно…

Знаешь ли ты, что значит сказать свое слово, Петя?

Петя!

Да ты, друг мой, никак, давно спишь?!

Спи. Я добыл этот остров. Добыл один, и теперь вот, как хлеб, разделяю его с тобой, дарю тебе – с бурыми глинистыми отмелями, словно дно первобытной Земли выступающими из моря в отлив, с бесчисленными стадами гусей, с его реками и ручьями, прошлогодним снегом и ложбинками между сопок, голубыми от незабудок, со всеми восторгами, которые способен вдохнуть он в душу, и со смертельной усталостью, которая подступает и окутывает, словно тьма, хотя летом здесь не бывает ночи. Ты спишь – и, значит, принимаешь дар. Отныне остров станет частью твоей судьбы, может быть даже – кольцом, связующим тяжелую гроздь ключей от разных дверей в разных концах этого мира…

Петр

Друг мой Петр, мой верный попутчик! Тебе пристало бы знать, как ты возник в этом странном сцеплении обстоятельств, как ты стал частью замысла: не моего только, нет – а того замысла, частью которого стали мы оба, для выполнения которого мы и встретились. Теперь, когда столько лет прошло, я понимаю, что ничто, даже промедление мое, не было напрасным. В промедлении время испытывало мою решимость. Время растило мне спутника.

В том, что им оказался именно ты, сын моего друга, географа Миши Глазова, нет, возможно, ничего странного. Не совсем ясно только то, как именно обстоятельства предопределили наш выбор, делая его необходимым, то, как из всей массы возможностей оказалась действительно возможной только одна, да и то не та, что ты, то есть я, имел в виду в первую очередь. Да и ты, полагаю, не дал бы и пары дохлых навозных жуков за то, что именно я окажусь твоим первым экспедиционным, с позволения сказать, начальником.

Прости меня, дружище, но ничего не поделаешь: когда мы познакомились, тебе было лет девять, мне, соответственно, на семнадцать больше. Разница довольно большая, чтобы возникло ложное представление о непреодолимой дистанции, разделяющей нас. Где это было? Вспоминается почему-то Валдай, старый, довоенный еще кордон лесничего, обжитый Мишей: дом, крепкий бревенчатый сарай и баня, наполовину спрятавшаяся в траве, могучие ели, вплотную подступающие к дому, обрывистый берег и ступеньки, сбегающие прямо к речке с чистым песчаным дном и ледяной прозрачной водой…

Да, пожалуй, мы и встретились впервые на Валдае, в доме твоего отца и, соответственно, в его мире, мире твоего детства, мире рода. Рисунки бабушки (твоей) карандашом: глухарь, запрокинувший голову на ветке сосны, в сумраке глухого бора в предрассветный час; ком света, нарастающий за темным рядном леса; ком, еще не округлившийся, не сгустившийся в солнце, но уже переставший быть рассеянной рассветной пеленой… Прекрасный рисунок! А вот другой: волк, издали глядящий на кордон. Сумерки. Одно окошко освещено: там, верно, рядом горит на столе керосиновая лампа. Электричества на кордоне не было и когда подступала ночь, зажигали керосиновые лампы и в доме разливался чудный, теплый, золотистый свет, длинные тени скользили по стенам, по складкам одежды, пропахшей лесом, потом, дымом, по книжным полкам со справочниками, стопками карт и полудюжиной любимых книг, из которых я запомнил только «Песчаное графство»; на столе микроскоп, весы в футляре… От лампы особым шиком считалось прикуривать, я помню. Курили в печку, глядя на расплавленные алые уголья с пробегающими по жару голубыми огнями…

Еще рисунок: те самые ступени, обрывающиеся к воде, к прекрасной лесной речке с перекатами и омутами, в которых стояла быстрая серебристая плотва с красной крапинкой в глазу; лучи света, пронизывающие толщу воды до самого дна, до мелких разноцветных камешков, поверх которых ложились узорчатые тени тяжелых еловых лап, листьев рябины и дрожащая кисея берез…

О, я вспоминаю! Мы ныряли.

Мы спустились на берег к омуту. Я знал, что мне надо, не выдав своей робости, смело броситься в ледяную воду, потому что ты был сыном своего отца, Петька, и ты тоже проверял, как мальчишка проверял – кто чего стоит. Я всегда любил очищающие лесные ванны, но именно как ванны, как мгновенное погружение в холодную воду, кипящую пузырьками захваченного с поверхности воздуха, но когда ты вынырнул рядом и, едва разлепив мокрые ресницы, спросил: «ну, а до того бревна ты донырнешь?» – приглашая и дальше резвиться в этом ледяном потоке – я поспешил воспользоваться своим правом взрослого быть вечно занятым и, сославшись на дела, выскочил на берег, ловя на себе твой слегка насмешливый взгляд…

Да, мы были взрослыми, мы познали проклятье сизифова труда, не совершив ни подвигов, ни злодеяний Сизифа: тупо, не размышляя, катить и катить в гору камень жизни. Ты же целиком принадлежал еще волшебному миру детства: миру реки, вод ее, янтарных пятен света, серебристых рыбок в тени под берегом… Ты знал исток: озеро, старый, еще монахами построенный шлюз, лебедку, массивные шестерни, похожие на примитивный часовой механизм, щель слива внизу… Ты, верно, думал иногда, что будет, если лебедкой поднять дубовый затвор шлюза и пустить в лес вал озерной воды? Признайся, думал; я и сам мечтал иногда услышать, как задрожит и загудит лес, когда вода устремится в него, срезая узоры береговой линии, кропотливо выкроенные медленным течением… Но что стало бы с миром? Ты не знал; ты знал начало, но не знал конца. Не так ли и все мы? Ну, конечно… Только притворяемся, что знаем что-то наверняка, почему-то боясь сознаться, что все так же неясно, как в те годы, когда детьми мы завороженно озирались вокруг. Великая тайна детства… И какая благородная оправа ей: эта река и лес, полный храмового величия древесных колонн и великолепия мхов; полный извечного прибойного шума, запахов, птичьих трелей и прочих пугливых звуков, которыми выдает себя тайная жизнь леса – колючим шорохом белки в вершине отяжелевшей от шишек ели; легким шагом поднявшегося с лежки потревоженного лося; отдаленной дробью дятла или тем похожим скорее на тень, чем на звук движением, с которым исчезает в низких береговых зарослях волк, издалека наблюдавший за жизнью людей на кордоне…

Где было твое убежище в этом лесу, твой любимый угол, который есть у каждого мальчишки? Я не знал. Однажды на горячей, пахнущей муравьями песчаной обочине лесной дороги ты показал мне, как охотится муравьиный лев: странная невидимая тварь, зарывшаяся в песок на дне неглубокой воронки. Я увидел большого красного муравья, с хвоинкой во рту случайно оказавшегося на краю этой невинной с виду лунки, и тут дно ее задрожало, как будто там открылся крошечный вулканчик и в муравья ударила струйка песчинок, вместе с которыми он покатился на дно. Он хотел было бежать, но не тут-то было: песчинки упрямо брызгали в него, скатывались вниз, вместе с собою и его увлекая все ближе к центру воронки, откуда вдруг – буквально на миг – высунулось огромное, по сравнению с муравьем, существо песочного цвета, схватило муравья массивными челюстями и вместе с ним снова ушло под землю…

Я был поражен. Ты – очень доволен этим. Я вспомнил, как мальчишкой сам радовался, когда мои секреты… даже трудно объяснить: они действовали на взрослых так, словно те никогда не бывали детьми… И я не мог, разумеется, поверить тогда, что сам позабуду большую часть неописуемых знаний детства, которыми владел безраздельно…

Когда я впервые на свой страх и риск отправился на Остров, тебе исполнилось четырнадцать. Следовательно, если я буду рассказывать о своих приключениях, то ты вспоминай то лето, когда ты жил один в старом отцовском доме: жил долго, вечность, месяц (приехав случайно с Мишкой, мы обнаружили следы колоссального, немыслимого труда, неподсильного взрослому человеку, поскольку тот все же подвержен чувствам усталости или сибаритства: дом был весь перелицован изнутри, на залитом солнцем подоконнике лежали молоток, несколько выпрямленных гвоздей и клещи). Случайно мы приехали, случайно я запомнил эти предметы, обмен приветствиями, тебя – почему-то в зарослях крапивы, глядящего из-под козырька армейской шапки из полинялого х/б настороженно и, пожалуй, слишком красноречиво: «зачем, зачем вы приехали?»

В то лето мы не были нужны друг другу. Уж мы-то, во всяком случае, тебе не были нужны. Страннейший возраст, 14 лет: вчерашний ребенок вдруг понимает, что стоит на самом пороге взрослого мира. Более того, внутри себя он убежден, что уже взрослый, но не уверен, что другие поверят в это: может подвести ужасный, трескающийся, лающий голос, недостаточно развитая мускулатура, а главное свежая память других о том, что он

(ты) совсем еще недавно был ребенком. Ничто так не ранит в это время, как напоминание о том, что кто-то помнит тебя «вот таким».

А мы как раз были из их числа.

Нам хватило ума разойтись параллельными курсами; ты жил как жил, утром купался, варил гречневую кашу, ел, потом брал молоток… Молоток стучал не переставая, словно ты не строил, а сокрушал, сокрушал стены, укрывающие тебя от взрослости, огромностью своего труда пытаясь заставить других – отца, брата, друзей отца – считаться с собой. И считаться на равных. Может быть, тогда это в полной мере и не удалось тебе, но я, во всяком случае, запомнил странность и молчаливый драматизм превращений, которые совершались с тобою: уже не мальчиком, еще не юношей… Большим молчаливым мальчиком, столь мало похожим на того, что я знал когда-то… Вечером ты шел к старику. Старик перебирал сети, корявыми пальцами сухую прилипшую чешую выбирал, черную траву озерную, иногда засохшую рыбку, блестящую, как блесна. Зеленый закат тускнел, когда его «кутька», лодка, выдолбленная из осинового ствола, из прибрежной тени выныривала на зеркальную гладь озера: старик рыбак был, с весны начинал томиться, перебирать, словно парчу, сети, старые чинить, новые плести, позвякивать кольцами, причитать: «отпустите дедку в море…» Рассказчик был великий, актер, сказочник, балагур. Ты все с ним был в то лето, нас сторонясь, сторонясь даже сверстников, жадно пил его мудрость. Впервые тогда я позавидовал тебе: и этой особой близости старику, и характеру, который схватывался и твердел на глазах благодаря незримому присутствию отца. Я взрослел без отца: неумело, бездарно. Отец дал мне силы, но не научил распоряжаться ими. Чтобы научиться упорству – обычному мужскому у п е р т о м у упорству – у меня ушли годы, а у тебя одно лето: когда ты жил на кордоне один, жил, просто копируя отца, которого, за исключением тех двух дней, и рядом-то не было…

Вот эту-то упертость я и вспомнил через пару лет, когда стал собираться на Колгуев вторично и обнаружил, что ни один человек из всех, кто когда-либо, увлеченный моими рассказами, выражал страстное желание отправиться со мной на Север, никуда не поедет. Я предвидел это и никого не винил: восхищение было искренним, и слова не были лживыми, просто прошло слишком много времени… У людей накопились дела… Но вот предательство одного моего приятеля, практикующего нарколога и злостного авантюриста, едва не надломило меня, поскольку на него я, признаться, рассчитывал. Я в п р и н ц и п е пробил свой план в редакции «Огонька», убедил редактора, что мне необходим компаньон, которому редакция выдаст командировочное удостоверение и выпишет деньги наравне со мной. Недоставало малости: редакции – денег, которые зависли где-то на полпути от банка к редакционной бухгалтерии, мне – компаньона, которого я мог бы представить в подтверждение серьезности своих притязаний. В этой ситуации в о з н я вокруг экспедиции (закупка кое-какого снаряжения, фотопленки, хотя бы нескольких банок консервов) могла бы, по законам симпатической магии, сдвинуть дело с мертвой точки: что бы там не говорили, всякое дело любит в о з н ю вокруг себя и посему в о з н я, по-моему, совершенно обязательна для успеха. В этот решительный момент я позвонил своему приятелю, чтоб он хоть очистил как следует спирт, который мы повезем с собой, но он вдруг сделал вид, что никакого разговора у нас не было:

– Какой Колгуев?! Я в Германию еду…

Особенно поразило зазвеневшее в голосе внезапное раздражение. Когда я повесил трубку, меня всего трясло. Ну, конечно, конечно… В Германию, так в Германию… Хотя никто никому не обязан… Остров – моя личная проблема и мне не навязать ее другим. А что до изъявления намерений, то надо же мне было быть таким простаком, чтобы поверить словам, сорвавшимся с языка в минуту увлечения…

Мне снова предстояло отправляться на остров одному. Не то, чтобы это так уж пугало меня, просто один я не мог совершить то, что сам же и придумал. Одного себя мне было

мало: без попутчика ничего не клеилось, не клеился, с самого начала, образ экспедиции. Экспедиция из одного человека? Звучит одновременно и ущербно, и претенциозно. В конце концов, экспедиция – это тоже своего рода театр, в котором одному не справиться с необходимыми ролями.

Кто будет вторым?

Второго не было.

Не знаю, почему в эти дни я опять оказался у вас на Валдае. Ты был здесь. Я встретился с красивым, сильным шестнадцатилетним парнем, совершенно самостоятельным, выросшим в семье, где съездить в экспедицию было делом чести… Меня всегда поражало, что старший Глазов в свои четырнадцать лет два месяца проплавал юнгой на мэрээске[3] Кандалакшского заповедника по Белому морю: не то даже поражало, что мальчишка-семиклассник два месяца делил со взрослыми все возможные испытания похода, а то, что родители отпустили. Все-таки Кольский полуостров не Крым, как его ни крути… Твоя бабушка, Петр, эта статная молодая женщина на старой фотографии стоящая с букетом ромашек в руках и белым венком на голове, была безрассудно, прекрасно смела… Так же смела, как твоя мать, Петя…

Вывод напрашивался сам собой, но, видно, что-то еще должно было довернуться в моей голове, чтобы все встало на свои места. Ты можешь не поверить, но это произошло, когда мы с тобой на мотоблоке возили навоз из бывшей совхозной ямы, расхищая. Ширь неба, рериховские облака, похожие на воздушные крепости, изумрудные холмы, свежий, вытрезвляющий запах слежавшегося, темного, перемешанного с соломой навоза – все это невольно придало нашему делу какой-то богатырский размах и своего рода азарт, наваждение скарабея, священного жука древних египтян, из вечности в вечность перекатывающего шарик навоза, как солнце по небу; шар расплавленного золота, огня, света… Не камень, заметь, не проклятый камень Сизифа, а шар целесообразного усилия, шар плодородия и надежд! Миф о Сизифе, проникнутый индивидуализмом и болью титанического страдания, не мог зародиться в Древнем Египте, хотя кому бы, казалось, как не строителям пирамид, знать о бесконечности человеческого усилия, питающего жизнь в ее восхождении к смерти? Но разве усилие – наказание? Это доля. Усилие скарабея бездумно и легко. Оно бесконечно и священно: покуда навозный жук катит в норку шарик навоза, солнце будет катиться по небесному своду, проливая свое золото на землю…

Пару раз, наметав в прицеп чуть больше навоза, чем было по силам увезти нашему тракторишке, мы начинали буксовать на горке, после дождика склизкой от жидкой грязи: колеса беспомощно проскальзывали и тут нам приходилось спрыгивать и с двух сторон изо всех сил толкать и прицеп и тракторок, чтобы не дать им сползти в придорожную канаву. Определенно, был какой-то восторг в этом необыкновенном напряжении сил, в попытке одолеть силу земного тяготения:

– И-и-рраз! И-и-рраз!!

Колеса мотоблока цепляются за крошечный отрог гравия, просыпанного на дороге, и тракторишко, истошно ревя своим двухтактным движком, начинает упрямо, как жук, карабкаться по нему наверх… Вдруг, взглянув на тебя, я в с е понимаю. Понимаю, что зря и глупо дергался, ища себе попутчика – ибо лучшего мне не найти. Ибо поистине счастлива экспедиция, в составе которой есть если не пятнадцатилетний, то хотя бы шестнадцатилетний капитан! И как прекрасны роли, задаваемые этим возрастным раскладом!

Мне нужен был друг, чтобы осуществить свою экспедицию; а тебе нужна была экспедиция, ибо человеку по фамилии Глазов после десятого класса полагалось бы уже поучаствовать в чем-нибудь таком. Тем более, что отец в то лето уходил в трансарктический рейс

[3] Мэрээска – от аббревиатуры МРС – малое рыболовное судно.

на «Академике Федорове», а брат отправлялся по гранту гумбольдтского университета на Командоры. Тебе надо было чем-то крыть. Вот и думай после этого, что толкали мы в гору: прицеп с навозом или собственные тупые мозги, которые необходимо было сдвинуть с мертвой точки. Ты был единственным надежным попутчиком, а я, именно я лично, стоящий перед тобою в перепачканных навозом сапогах – единственной «экспедицией», к которой ты мог бы примкнуть. Вот так мы и встретились, так и сравнялись с тобою, друг. Друг – это всегда возможность удвоить силы там, где собственных сил не хватает. Друг – это тот, кто готов разделить с тобою твое призвание. Друг – это дополнительный цилиндр в моторе. Это надежда.

Когда я объявил в редакции, что нашел себе спутника, которым будет шестнадцатилетний капитан Петр, главный редактор «Огонька», добродушно улыбнувшись, на всякий, как мне показалось, случай, спросил:

– А ему уже исполнилось шестнадцать?

Я подумал, что он опасается трудностей с оформлением документов и заверил редактора, что все в порядке, паспорт Петр недавно получил.

– Я не подпишу ему командировку.

Тихий, спокойный голос. Узкое лицо с полоской тонких губ, хладнокровное, почти бесстрастное, глаза до поры опущены, чтобы вдруг в упор пронзить меня ледяным холодом, не оставляющим сомнений в том, что этот человек прекрасно понимает, о чем говорит. Я чувствую, что попал в засаду. Это очень осторожный человек. Осторожный, как контрразведчик. Его осторожность безгранична и способна разрушить все мои планы, ибо то, что я читаю в его глазах, есть приговор: редакция н е д о л ж н а б ы т ь н и к а к и м б о к о м п р и ч а с т н а к этой затее, если она обернется какой-нибудь неприятностью…

То есть, если мы, к примеру, погибнем. Ведь такое возможно? Возможно. Разобьется вертолет, лодка опрокинется на переправе, какой-нибудь заблудившийся белый медведь случайно выйдет на нас… Меня и самого в иное время бросило бы в жар от этих гипотетических опасностей, но у меня было слишком мало времени: нужно было найти слова, способные немедленно и радикально успокоить главного редактора.

– Я говорил с его отцом… Он готов написать письменное заявление, что даже в самом крайнем случае не будет иметь к редакции никаких претензий…

Это успокоило редактора. Холодный огонь в его глазах погас, веки опустились:

– Я не подпишу ему командировку.

Точка.

Вечером я позвонил в Нарьян-Мар друзьям. Сказал что дело опять зависло и, похоже, приеду я все-таки один. Совершенно случайно выяснилось, что Колгуев почему-то перестал быть режимной территорией. Значит, Петьке не надо оформлять пропуск в погранзону. А значит, не обязательно и выписывать командировку. Паспорт, чтобы купить авиабилет, у него был, а у меня были кое-какие деньги на дорогу. Так что остановить нас ничто не могло.

Женщина, которую я оставлял с последними двумя сотнями долларов, была моей возлюбленной и матерью моего ребенка – пойми это, Петр и оцени глубину ее мудрости: она тоже могла бы думать о «неприятностях», которые могут случиться со мной, а затем и с нею, но она думала о счастье, что ждет нас по ту сторону похода, о силе и сокровищах, которые я принесу оттуда. Она верила в меня.

Когда-нибудь я расскажу тебе про нее и тогда открою, Петя, за чем мы, в действительности, ходили. Мы оказались очень разными людьми с тобой. Это было ясно изначально, но со временем у нас появилась возможность приглядеться друг к другу внимательнее. И я не разочаровался в тебе. И ни разу не пожалел, что ты, а не приятель-авантюрист оказался со мною. Ты был силен и вынослив. Ты ни разу не попрекнул меня, что я вовлек тебя в бессмысленное предприятие. Больше того, я знал, что тебе интересно: это было важнее всего.

И еще я всегда знал, что ты рядом. Знал, что если мне станет совсем хреново, я не скажу тебе, но ты будешь рядом.

А это было немаловажно после первого похода.

Потому что путешествование в одиночку мне не то, чтобы не понравилось… Просто, оно оказалось гораздо более трудным и беспощадным делом, чем я мог представить себе. И потом, оно слишком еще походило на бегство…

– На что? – спрашиваешь ты насмешливо, как всегда, когда до конца не понимаешь.

– На бегство, на бегство…

Подожди, я как-нибудь расскажу тебе… А пока что хочешь знать, за что я всю жизнь буду благодарен тебе? Не поверишь. И не вспомнишь: тот самый день, когда мы прилетели в Нарьян-Мар, за несколько часов перепрыгнув расстояние, на преодоление которого в одиночку у меня ушла без малого неделя. Была прекрасная погода, голубое небо, контрастный «мартовский» северный свет, озаренные этим светом «пески» на окраине города, бараки, пятиэтажки, непривычный для наших широт, выстроенный острыми пиками лиственниц силуэт леса. Печора вдали: сталь с синевой, с кольчужной искрой, обещание дороги дальней, морского плеска, морского ветра… Уже не помню, чем мы были заняты: должно быть, в гостях у В.К.Корепанова сидели над картой, прикидывая возможные варианты маршрута…

А потом вернулись в гостиницу, кое-как затянули от прямого солнца окно и легли спать: я еще намеревался читать что-то, а ты почти сразу уснул, улыбнувшись, и вдруг ясно, совершенно отчетливо произнес – то ли уже во сне, то ли в том волшебном состоянии, которое предшествует ему:

– Хорошо…

Вот за это «хорошо», Петя, буду помнить тебя всегда: потому что и тебе, выходит, был дорог унылый рай моей души, необъяснимый рай приближающегося Севера, пространства, разверстого на все четыре стороны, пространства, исполненного величественной, симфонической красоты и настоящей гибельной жути, жути человеческого умирания, рядом с которым метания Беглеца, о которых я обещал поведать тебе, покажутся комедией, мой друг.

II. Книга Бегства

Между «теперь» и «никогда»

С чего бы, однако, начать комедию? Пожалуй что Петька пока пусть спит. Во второй раз уже я оставляю его спящим на полях повествования, но что поделаешь? Эта комедия не для слуха юноши. Есть вещи, которые делаются забавными только по прошествии времени. Да и то, если время прошло недаром и ты утвердился в своей взрослости – не как в проклятии, а как в способности следовать избранным путем. Если мир ловил тебя, но не поймал. И ты сумел… Как это говорят? С о с т о я т ь с я? Да довольно бы и того, если ты просто сумел б ы т ь. Тогда, в кругу близких, отчего бы не вспомнить, как ты готовил побег, в особенности, если он оказался удачным? Как обходил ловушки и привады, как распознавал приманку в самых жирных кусках, попадавшихся на дороге и, поджимая тощее брюхо, сглатывал свинцовую слюну, дрожа от искушения, проклиная свое бегство, проклиная все на свете и самого себя, чтобы в конце концов все-таки обмануть обстоятельства, запутать следы, забраться в глушь, забыться, быть забытым, чтобы однажды вернуться в мир, который тебя больше не помнит и просто быть в нем тем, кем ты хотел. Б ы т ь. Важное слово.

Не для тебя, исполненный надежд юноша, переполненный будущим. Что тебе сейчас Беглец, если у тебя столько капитала в банке времени? Что ты знаешь о нем?

Ничего.

Так что спи, или хоть делай вид, что спишь, и молчи: а то еще спросишь, от чего он бежит – и придется объяснять вещи, которые ты понять еще не в силах. Ибо, видишь ли, бегут-то всегда от одного и того же: от несбывшихся надежд, от несчастной обанкротившейся любви, которую больше нечем кормить, от быта, который ты, вроде, сам и устраивал, пока не построил тюрьму для себя, комфортабельную тюрьму с видом на стену соседнего дома, щедро расплатившись за это временем своей жизни. От несбывшегося таланта: это труднее всего объяснить тебе сейчас, когда ты только закончил десятый класс и весь мир – твой. Но подожди немного, подожди лет семнадцать – и ты увидишь Беглеца совсем иными глазами. Он – тот же юноша, получивший тот же завет на тропинках своего детства: «мир – божественность, все дозволено, дерзай!»

Но времени у него больше нет. Вот он сидит на полу перед целой кучей бумаг, перебирая их. И вот этот отрывок неплох, и вот этот тоже… Эти отрывки, обрывки мыслей, пробы рисунков, стихов – это все остатки какого-то жизненного предначертания, следы надежды. Ею питала себя молодая любовь, ею жила вера в свободу и в талант, который сужден человеку… И вот свобода утрачена, талант разменян, а надежда живет в последнем отчаянном и ни на чем, в общем-то, не основанном допущении, что, может быть, еще удастся проскочить к у д а – т о между двумя исполинскими, как скалы, массивами времени «теперь» и «никогда», зазор между которыми стремительно становится все уже и уже…

И вот, человек, который не выдержал и решился сунуться в эту щель с риском быть зажатым и раздавленным – становится Беглецом. Говорят, от себя не убежишь. Но что это значит? Поразмысли. Бегут-то от прошлого. И если там нет ничего такого уж, никаких отягчающих обстоятельств – то можно, пожалуй, и оторваться. Можно начать новую жизнь. Через семнадцать лет, если захочешь, я расскажу тебе, когда бежать просто необходимо: я кое-что смыслю в вопросе, я сам был в бегах шесть лет. Но оторваться от прошлого смог, только превратив своё бегство в экспедицию…

Прежде, чем это произошло, я пережил несколько поистине злосчастных лет. Может сложиться впечатление, что я рассказываю о придури взрослого человека, недоигравшего

в детстве в Робинзона Крузо, но для меня речь шла о жизни и смерти. Я жил с неуклонно нарастающим ощущением катастрофы и отчаянным чувством, что потерял свою путеводную нить и совершенно не знаю, в каком направлении двигаться. Я перестал спать. А когда все же засыпал, приняв снотворное, видел сны, ужасом которых была моя полнейшая беспомощность. В этих снах я лишен был способности действовать, будучи пассивным вместилищем страха и беспокойства и созерцателем безобразных, развороченных бульдозерами ландшафтов индустриальных окраин некоего города, залитого неестественно ярким багровым светом. Не сомневаюсь, что это был ад, мой личный ад – с возникающей в дальней перспективе психиатрической клиникой, разместившейся в окутанной облаками пара башне ТЭЦ, с исполинским телевизором-крематорием, кварталом, заселенным беженцами, близкими к безумию и совершенно уже сумасшедшими политиками, вызывавшимися быть поводырями в этой пустыне.

Полагаю, что политические события того времени каким-то образом проецировались на эти сны, но главная причина кошмаров коренилась все же во мне: мир казался мне бессмысленным. Развод и в особенности все, что ему предшествовало, подействовал на меня разрушительно: я знал, что потерпел серьезнейшее ч е л о в е ч е с к о е поражение, не сделал чего-то, во всяком случае, н и в ч е м не убедил женщину, которую любил и с которой прожил почти семь лет. Моя жизнь была н е у б е д и т е л ь н а. За полтора года одиночества я перечитал кучу книг по философии и психологии, но не написал ни одной путной строчки. Дар писательства оставил меня. Должно быть, он не хотел служить боли и отчаянию, которые я, желая или не желая того, так или иначе пытался выразить. Я много пил. Из четырех начатых в это время повестей не удалась ни одна. Я сам понимал это и бросил две из них, не закончив, с чувством несравненного облегчения…

Именно тогда в дневнике моем возник, а потом сделался постоянным, настойчивым, почти навязчивым мотив бегства. Казалось, я сам к себе примеривал эту возможность, то так, то иначе варьируя тему, и не осмеливаясь последовать примеру своих героев лишь потому, что в финале этих вариаций никогда не обнаруживалось ничего обнадеживающего. В лучшем случае это было исчезновение, растворение в молекулярном брожении мира, которое было, несомненно, лишь эвфимизмом смерти, которая все эти годы пристально наблюдала за мной, угадав подранка и предчувствуя возможную жертву.

Я описал попытку бегства в детство преуспевающего врача-психотерапевта, высосанного своими пациентами, опустошенного своей работой и своим успехом. Однажды с какою-то особой остротой приходит это чувство. Что-то неладное происходит с ним, привычные приемы самоконтроля не действуют, солнце взрывается у него в голове… A Momentary Lapse of Reason… Он не выдерживает, садится в машину, срывается, гонит – апрель, зеленый дым, магнитофон в кабине поддает адреналину, впрыскивая в кровь пульсации к месту случившейся песенки «Learning to fly»… Почему-то он оказывается на окраине своего детского мира, на опушке леса, который все тот же, что в детстве, и та же сосна с засохшей вершиной сторожит вход в зеленые чертоги…

Конечно, он понимает, насколько наивна эта попытка бежать вспять, но он здравомыслящий человек, он отдает себе отчет в том, что это, в конце концов, тоже своего рода терапия, и если он приехал сюда, значит, так нужно: ему необходимо и н т е г р и р о в а т ь какой-то опыт, что-то вспомнить, или что-то найти, и его б е с с о з н а т е л ь н о е само подскажет ему – что. Оказывается, что это – то древнее болото, спрятавшееся в самой лесной глуши, в котором когда-то воплощались все детские его представления о тайне, о настоящей тайне, состоящей из восторга и ужаса перед этим местом, которое простиралось во времени бесконечно, взращивая свои диковинные растения, издавая урчащие звуки, пузырясь ртутными сгустками газа, поднимающегося со дна черных бездонных окон болотной воды, населенное, несомненно, своими духами и похожими на духов совами… И вот он, взрослый

и все понимающий человек, идет по пустому прозрачному лесу к этой таинственной чаше своего детства, к этому лесному оку, и с удивлением чувствует, что лес нежно, почти незаметно, как акварель, размывает запекшуюся глину забот, быта, минеральную горечь выгоревшей любви, черноту чужих исповедей, все то, что делало жизнь невыносимой, и он вдруг снова вспоминает бесконечность образов, вкрапленных детством в память, тот запах мира, тот цвет… Он ступает на болото почти счастливым, забыв, что болото полно талой весенней воды и тропинка между трясинами нет, не забылась, она просто не натоптана еще… Он оказывается в пространстве, где под ногами колышется земля, видит черное окно воды, в испуге шарахается в сторону и проваливается….

Он не думал, что может быть так, что это опасно.

Дурацкий порыв, всего лишь порыв, всего лишь шаг в сторону.

Ледяная жижа внизу. Он чувствует животом тяжелую, как цемент, пребывающую в вечном мраке жижу, беспощадно со всех сторон сдавившую его…

Воспаление легких.

Он пытается вырваться и проваливается по самые плечи.

И тут понимает, что не испорченный костюм, и не воспаление легких, а смерть.

Болото жмёт его и холод дикий, от которого вскоре совсем перестыло горло; холод, сочащийся через шею в голову, сводящий с ума…

Он делает еще один рывок – и понимает, что теперь над поверхностью осталось одно только его лицо. Некому было кричать, да и невозможно крикнуть, он видел только небо – огромный синий свод, простершийся над трясиной, по которому так изумительно красиво и с таким равнодушием к его гибели скользили белые облачка поднявшегося от весенней земли пара…

Детство и смерть – все угадано верно. Желание детской полноты бытия и невозможность достигнуть… Смерть. Я никогда не понимал раньше, почему в русских народных сказках погибших героев поливают сначала мертвой водой, а потом живой. Иногда необходимо умереть, «умереть от себя», чтобы ожить снова. Я пережил символическую смерть, отказавшись от имени: новые литературные пробы я стал писать и публиковать под чужими именами, поскольку «я», представляемое моим собственным, никак не желало расставаться с некоторыми усвоенными навыками письма, жаждой признания и мрачными воспоминаниями. На самом деле, чтобы «ожить» мне потребовалась изменить весь образ своей жизни, образ мышления и мирочувствования, смыслов, всего. И пока я не поменял всю кожу, я так и не мог нормально жить дальше. Ибо, отчего бы мы не бежали, в конце-то концов мы бежим от собственного ничтожества. Это духовная нищета, болезнь века, которой много было свидетельств и которая для многих одинаково плохо заканчивалась. Но, возможно, бросаясь прочь, обретешь что-то, чем сможешь обогатиться?

Это допущение развернулось вариацией классической истории некоего человека, который выходит из дома, чтобы вынести помойное ведро и не возвращается уже никогда. Я вдруг очень хорошо представил себе его – молодой докторант, готовящийся защищать диссертацию по философии дзен, в одно прекрасное утро, позавтракав и собравшись, как всегда, в библиотеку, выходит из темного, загаженного и исписанного какими-то отвратительными подростковыми откровениями подъезда в ясный, пронзительный, тревожный весенний день и внезапно чувствует совершенно явственное отвращение не только к дому, в котором он жил, не только к темному подъезду, но и ко всему, что прежде считал дорогим: даже к папке с бумагами, с записями своих мыслей, касающихся феномена внезапного просветления… Собственное затворничество в библиотеке покажется ему чудовищным в этот день; научные советы с коллегами по кафедре увидятся в каком-то удручающем свете, и даже мир дома, комнаты, рабочего стола покажется скучным, как заношенные домашние тапки, благодаря

внезапно обрушившейся на него вместе с поразительной ясностью этого дня ужасной способности к макроскопическому видению вещей…

Может быть, он пережил просветление, а может, напротив, был просто засвечен, как фотобумага, но выйдя из дому, он отправится не в библиотеку, а почему-то на вокзал, где сам для себя неожиданно возьмет билет до недалекого города Рыбинска, где, вроде бы, по какому-то адресу жил его однокашник. На работе его исчезновение заметят не прежде, чем туда позвонит растревоженная жена, но в конце концов и сослуживцы, и жена забудут о нем, ибо все мимолетно. Потом он поймет, что обольщался, что попал в какую-то воздушную яму времени, в какую-то дикую вспышку весеннего утра, которая сыграла с ним странную шутку; но желания вернуться назад все же не возникнет. Жене расскажут, что видели его в Коктебеле, выбирающим рыбу из скользких сетей, сваленных на корме рыболовного судна, где лежали еще две обросшие ракушками и водорослями греческие амфоры; в другой раз встретили возле Гурзуфа, собирающим камушки на берегу, и кто-то из знакомых, не без колебаний, даже окликнул его, с состраданием поглядев на изорванные шорты ученого:

– Как дела, Андрей Валентинович?

Он не поднял головы, но улыбнулся:

– Сегодня они совсем не такие, как вчера…

И тронулся дальше кромкою пляжа. Еще жене расскажут, что его видели в Астрахани, пьющим пиво на рыбном базаре и в Костроме (случайно) в церкви; она ответит, что не верит уже ничему и что он, как бы вездесущ он ни был, конечно, пропал. В голосе ее невольно прозвучит надежда. Но он не пропал, и, попадая иногда в любимый прежде город, бывал трезв, и во вполне трезвой решимости дважды даже ехал (сдавленно, неуютно себя чувствуя в вагонах и переходах метро) на станцию ВДНХ, и шел на улицу Королева, где в трехкомнатной квартире жила его жена, неплохая, в сущности, и пожалуй даже до сих пор им любимая женщина, которую он оставил так внезапно и так надолго, даже не предупредив. И он по дороге обдумывал, как бы зайти к ней и все объяснить, но объяснить так ничего и не мог. И каждый раз давал задний ход, не понимая, как это он втиснется в пространство их бывшей квартиры со своим неимоверно разросшимся телом, с огромным пространством Волги, которую впервые увидел он в Рыбинске маленькой речкой, текущей меж двух гор желтого песка, а после видел бесчисленное количество раз, темной, как стекло, в прозрачном утреннем тумане перед рассветом, когда проходили весной костромские разливы и в красной полосе по-над берегом бежал черный кабан; и рыжей, почти красной, когда грузили арбузы в Камышине и дул из Заволжья иссушающий степной ветер; которую видел он тихой как пруд и в трясучей мелкой волне, как в чешуе, на Рыбинке; которая била и топила его, и выкармливала осетриной, которая стала его жизнью настолько, что он уже не отделял себя от реки, не отделял покоя от шороха осенних тростников в низовых протоках, где река плутает и ветвится, как крона дерева, и человек (он) живет в этой кроне, как птица, перепархивающая с ветки на ветку и поющая свои счастливые песни. И еще не знал он, как войти к своей жене с сердцем, воспринявшем добра и зла столько, сколько не узнал он за всю свою прошлую жизнь, как раз и прошедшую, в немалой степени, в разговорах о добре, о зле, и о знании.

По этим причинам, постояв немного у дома, где жил когда-то, мужчина разворачивался и отправлялся в обратный путь, не осмеливаясь нарушать изменившимися своими габаритами покой и конфигурацию своего жилья. Так пройдя раза два по касательной прежнего своего мира (и однажды даже встретив соседа, с которым прежде непременно раскланивался), он решил больше не возвращаться. Возможно, причиной было и то, что сосед, поглядев на него внимательным долгим взором, его не узнал. И он понял, что вправду изменился, и что отныне (или уже давно) он и эти люди существуют в параллельных мирах, которым не дано соприкоснуться. И он позабыл женщину, которую любил, ибо все быстротечно.

Она тоже давно позабыла его, и лишь иногда по весне, когда ветер гонит по небу лазоревые облачка, она с какой-то тревогой и недоумением вспоминала тот день, когда это произошло (такой же был день с мелкими облачками) и может быть даже с обидой, что он ушел, так ничего и не объяснив ей: потому что ей казалось, что она могла бы понять… Но это чувство обиды было несильное, и с каждым годом слабеющее. Она развелась заочно, дав взятку и снова вышла замуж, не без симпатии, но и не без расчета, как взрослая опытная женщина. На свадьбе она вспоминала о первом своем замужестве по любви с чувством почему-то стыда и неловкости, но когда заорали «горько» и новый стал целовать ее, она почувствовала, что не может: вдруг ей явилась мысль, что первый, может быть, жив, и б р о д и т где-нибудь поблизости, и такая была это жуткая мысль, что у нее все волосы зашевелились на голове, так что шиньон с флердоранжем чуть не отвалился. «Горько»!! – второй раз потребовали гости – и тут она очнулась, увидела, что новый как-то трогательно растерян, и ждет, принимая ее замешательство за смущение, и от этого, правда, вдруг испытав горячую волну признательности ему, наградила длинным сладким поцелуем. Потом и это замешательство, и эта внезапная нежность забылись, ибо все быстротечно…

Да, да, я желал так же раствориться в пространстве, исчезнуть и быть забытым, как этот человек, чтобы там, в забвении, жить, неистово жить, дышать полной грудью… Надеялся ли я, что добытый таким образом опыт в чем-то у б е д и т женщину, которую я любил когда-то? Конечно, нет: потому я и не оставил своему герою возможности вернуться.

Мои герои учили меня правилам бегства и помогли расправиться с собою-прежним. Я думаю, что вопрос о бегстве совсем не так прост. Каждый возраст чреват этой возможностью – вырваться из обыденности через катастрофу. Такой выход всегда драматичен: ведь, в конце концов, бегут лишь армии, потерявшие не только надежду удержаться на обороняемой позиции, но и желание ее оборонять…

Сейчас прошло так много времени, что многие прежние переживания кажутся смешными, ровно как и собственные поступки: да, меня ломало не на шутку, но со стороны, должно быть, это выглядело презабавно: от чего бежит, о чем вопрошает, с кем спорит, кому отвечает, почему казнит и мучает своих героев, почему ищет то забвенья, то знака свыше этот человек? Я написал кусочек прозы, в котором дошел до буквального раздвоения личности: один мой герой олицетворял мое разумное «я»; другой был художник, смелый до безрассудства, который в поисках самости перешагивал собственно границы искусства, чтобы быть поглощенным жизнью с возможным роковым исходом для себя…

Он покидает меня, когда понимает, что мои увещевания не подвергать себя риску и быть как все не выходят за пределы обывательских суждений. Последнее, что я успеваю перехватить – это телеграмма, которую он отправляет возлюбленной – женщине, которую и я втайне готов был бы полюбить…

Готов полюбить! Когда после полутора лет одиночества я встретил Гелу – удивительную женщину, в которую влюбился сразу, задолго до того, как признался ей в этом – я, к стыду своему, прежде чем обрадоваться, испугался: что разделю я с ней? Что, кроме своих неудач и сомнений? Лишь попав, наконец, на Остров я узнал ответ. Остров и был ответом. Исступление писательства, искание славы – все это разом отлетело от меня, с тех пор, как я принял Остров, как дар, как тайну, которую мало помалу, осторожно совлекая с нее покров за покровом, стал разделять с любимой.

Рождение дочери в один прекрасный день (возможно, столь же прекрасный, как те дни, в которые пускались навстречу неизвестности мои Беглецы) заставило меня задать себе неприятный вопрос: «А что из того, что я написал в жизни, будет интересно ей, когда она вырастет?»

Ответ потребовал определенной честности перед самим собой: ничего. Или почти ничего, за исключением, может быть, нескольких корявеньких стихотворений.

Мне захотелось написать что-то такое, что в отдаленном будущем поразило бы ее и придало бы ей силы. Такою задачей «писательство», пожалуй, могло быть оправдано.

Конечно, жизнь как таковая всегда таит в себе для художника опасное искушение – броситься в нее и, разломав собственные построения, погрузиться в непосредственность переживаний, прекрасных, как холодная ясная ярость сражающегося воина или огненный вихрь, бросающий в танец влюбленного танцора. Что-то подобное случилось с Артюром Рембо, которому путешествие в Эфиопию открыло что-то более необыкновенное, чем откровения Верлена и поэтику «Пьяного корабля». Рембо бежал в Африку, чтобы не погибнуть. В результате он лишился голоса. Возможно, жизнь оказалась драгоценнее «творчества» (беру в кавычки, имея в виду название программного романа Золя).

Искусство и личная жизнь одно; твоя жизнь и есть твое искусство. Или – искусство – способ достигнуть наивысшего напряжения жизни.

Так ли это?

Религия?

Любовь?

Воспитание детей?

Все искусство, все требует наивысшего мастерства. Искусство оправдано как средство остаться целостным человеком… У него нет другого оправдания, другой цели…

Мой двойник Андрей Юз исчез: в своих поисках достоверности он дошел до некоей опасной для художника грани, за которой художник, собственно, перестает быть просто художником, и, поглощенный огромностью жизни, начинает создавать уже не произведения искусства, а поступки – что требует виртуознейшего мастерства, но не сулит, увы, особых выгод. Но я не искал выгод. И мне ничего не оставалось, как исполнившись смелости своей тени, пуститься в неизвестный путь и дорассказать историю Беглеца: историю о том, как он побеждает страх и на его обломках строит свой миф, который со временем станет ему убежищем…

Бегство

17 августа 1992.

Четыре часа утра. Поезд останавливается возле давным-давно не ремонтированного вокзальчика какой-то богом забытой станции и пассажиры начинают с привычной сноровкой выгружать на низкую платформу мешки с картошкой. Слышно сиплое дыхание, покашливание, голоса… Сквозь стекло вагона можно прочесть название станции: «Печора». Я подхватываю свой рюкзак и выхожу из вагона. Туман. Холодно. Крошечная площадь. Автобусная остановка. Откуда-то появляется автобус, делает круг, останавливается. Люди набиваются внутрь. Меня прижимают к поручню у окна; я отираю стекло от холодной испарины, вижу серую, залитую туманом площадь, несколько фигур, перетаскивающих мешки в багажники трех-четырех легковых автомобилей, едва различимое в тумане здание вокзала.

Я не вернусь сюда никогда. Никогда не воспользуюсь этим вокзалом для бегства назад. Даже если.

Автобус фыркает и трогается. Из тумана привокзальной площади увозит меня еще дальше в туман: вижу заросшее пожелтевшей осокой болото, несколько пятиэтажных домов и вдали металлические опоры, удерживающие что-то выше нижней границы тумана.

Город тумана: неплохое начало.

Я н и ч е г о не знаю об этом городе.

Конечная остановка. Оставшиеся в автобусе пассажиры выходят, разбредаются в разные стороны и растворяются молочной тишине. Я остаюсь один: площадь, песок.

Памятник Ленину в зарослях полыни и пижмы: словно наставник дзен, он уверенно простирает руку свою в белую пустоту. Видимость – десять метров. Все открывается фрагментами, словно в кино: тропинка вьется меж заборов, жесткие резные листья крапивы торчат меж штакетин, бревенчатые стены, старые дома, обрыв. Внизу, должно быть, река. Мощеный разбитыми бетонными плитами взвоз, стая собак, спящих на берегу. Чуть плещет вода у сходен старого дебаркадера, похожего на плавучий деревянный теремок или на старый неуклюжий двухпалубный пароход без трубы. Гулко отзываются шаги по мокрым от росы железным сходням. В зале ожидания – ни одного человека. За окном – все тот же туман, скользящий по воде. Касса закрыта. Я начинаю стучать. Не сразу, но приоткрывается окошко: в нем возникает неприветливое лицо едва проснувшейся женщины. Я наклоняюсь к ней и говорю, что хотел бы снять здесь каюту. Женщине, напротив, совершенно не хочется этого. Она недовольна тем, что я ее разбудил и не желает понимать меня. Только после моих уверений в том, что я заранее, по телефону, договорился с начальником дебаркадера о каюте, она выдает мне ключ, предупредив, что каюта двухместная и она обязательно должна будет кого-нибудь ко мне подселить. В тот момент мне все равно. По наружной железной лестнице поднимаюсь на верхнюю палубу, в самом конце длинного сумрачного коридора нахожу дверь своей каюты, сваливаю на пол рюкзак и, предвкушая, с каким кайфом сейчас сам завалюсь спать – только вот выпью чего-нибудь горячего – оглядываю голубые пластиковые стены своего прибежища в поисках розетки. Ее нет. Не могу поверить, ищу: нет. Черт! Хоть бы глоток горячего. Здесь холодно, как в могиле. Выхожу из каюты и иду в туалет: здесь должна быть розетка для электробритв. Точно! Засыпаю в кружку свой кофе, заливаю его водой, опускаю в нее кипятильник, кружку ставлю в раковину…

Спираль кипятильника медленно обрастает пузырьками: из розетки сочится тепло. Тепло! Славлю тебя, кипятильник, наследие темного прошлого! ГУЛАГа, армейских дежурок, лесопунктов, гостиничного и вокзального сиротства. Два провода, два лезвия «Нева» от

безопасной бритвы к станку образца 1943 года… Главное – не робеть и смело оголенными концами проводов нашаривать источник тока: оба-на, есть! Напряжение садится и лампочка над раковиной тлеет рыжим светом. Один самодельный кипятильник способен вырубить целую европейскую гостиницу – и хрен бы с ней, в борьбе за жизнь не до сантиментов, и в борьбе за кайф не до них, а кипятильник – он для того и создан коллективным гением народа, чтобы везде, где только возможно, производить кипяток и чифир. Кипятильник – последнее оружие пролетариата.

Кофе «Альворада» не просто невкусен – он отвратителен. Но он горяч! Выпиваю целую кружку, возвращаюсь в каюту, раздеваюсь и ложусь в постель. Полежав минуту, чувствую, как холод отсыревшего белья пронизывает меня. Надеваю свитер. Засыпаю.

15 августа 1992.

Проснулся от холода еще до рассвета. Слишком рано для такого дня: слишком нервно может задаться, перекоситься весь, а не хотелось бы. День отъезда все-таки. Но что поделаешь? Лето гасло, гасло неумолимо, остывало, как заходящее солнце и в утренники, до первого луча, откуда-то прорывался очень близко, оказывается, таящийся кристаллический холод: пол дачной мансарды, которую мы снимали тогда, был холоден, как сталь, обжигал ноги, и цветы под окном в ожидании дня стояли застывшие, остекленелые, едва живые.

Я подумал, что мне не заснуть, но тут проснулась Гелка и юркнула ко мне под одеяло, где мы молча, не сговариваясь, сложились какою-то странной фигурой – спина к спине, ступня к ступне – и, отогревшись друг другом, уснули. До сих пор помню покой и счастье этого сна, перетекание живого тепла из тела в тело, любовное разделение тепла поровну, доверчивую нежность ее плоти. Никакие слова не ободрили бы меня больше. Слова вообще не в силах были ничего добавить к тому, что я сам уже сто, двести раз говорил себе: любовь устала ждать, любовь требует поступка. Любовь вообще всегда требует чего-то такого, только мы как-то слишком легко сбрасываем это со счетов, полагая, что пылкости и исполнения супружеского долга довольно для любви. Какая несусветная чушь! Видит бог, я был страстным и верным супругом, под покровом нашей любви выросла наша дочь, за два года став маленьким человечком, способным ходить и объясняться с нами. Разве этого было не достаточно? Нет, не достаточно. Мы оба ощущали это. И я никогда не забуду радость, озарившую твое лицо, Гела, когда я с прискорбием для себя вынужден был сознаться, что мне ничего не остается делать, как доиграть до конца свою детскую игру в путешествие[4]. В любовь, которая связывает двоих только узами влечения и, тем более, «долга», я не верю. Я верю в любовь, которая возрастает, подобно дереву, помогая двоим раскрываться, требуя, неустанно требуя от них пищи для роста, новых смыслов, новых, все более сложных ролей, все более прозрачных, промытых оттенков чувств. И если душа моя требовала похода – значит, тебе выпало верить в то, что поход мой удастся и я совершу невозможное. Ну, а покуда не совершил – увести прочь от желанного ложа твоего, проводив напутствием из мудрой сказки: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что…»

[4] Пусть в этой главе сопутствует мне К.Г.Юнг: его духовидение глубоко, а авторитет достаточно высок, чтобы ссылкой на него можно было оправдать свои собственные, не слишком очевидные, может быть, соображения. В кризисную пору своей жизни он, ища пути к исцелению, сделал признание, чрезвычайно важное для меня: «Все же это болезненное, унизительное переживание – понять, что тебе не остается ничего, кроме как играть в детские игры» («Дух и жизнь», сборник автобиографических произведений, М., 1996, стр. 180). Унизительное, да, и болезненное это чувство – но все же выводящее к просвету новых горизонтов!

Если путешествие удастся, я принесу его тебе. Не знаю еще, что это будет. Может быть, фотография, может быть, растение, камень… Что-то очень важное. Слово. Вот, пожалуй, главное сокровище, которое я жаждал обрести. Вот ключ ко всей этой истории…

Если бы я доверился чувствам этого дня, то, видимо, должен был бы понуро вернуться назад. Не было ни одного доброго предзнаменования, напротив, все нашептывало мне, что меня ждут препятствия и неудачи. Прощание было пронзено глубочайшим сознаньем утраты: последний взгляд на жену, держащую дочь на руках, на дачный поселок, где мы все это лето жили так счастливо (так вот когда это стало ясно!) вдруг вернулся ко мне отчаянной мыслью, что я могу не увидеть их больше никогда.

Ведь я не знал, куда еду. И незнание это оказалось во сто крат офигительней, чем я мог даже представить…

В Москве, уложив рюкзак, я обнаружил, что у меня остается еще несколько часов до поезда. Чтобы скоротать время, я поехал на велосипеде в Сокольники и некоторое время с наслаждением кружил там по парковым просекам, мимо деревянных дач начала века, в которых необъяснимым образом жило еще обаяние того времени, когда это место было близким пригородом, связанным с Москвой лишь далекой трамвайной веткой, мимо теннисных кортов, мимо веранды-читальни, где, одинокий, под сухой шорох облетающей листвы читал книгу старик; во всем чувствовалась уже осень, опавшие листья шуршали под шинами, крошась, как табак, выгоревшая трава на дубовой поляне разметалась рыжими прядями, горький, пряный настой прогретого за день воздуха приятно кружил голову…

На обратном пути у переезда через железную дорогу я столкнулся с молодой женщиной, ехавшей на велосипеде мне навстречу. С какой-то неумолимостью близилось это столкновение. Я пытался отворачивать – тщетно – она поворачивала руль туда же, куда и я и, в результате, ударившись мне в переднее колесо, тяжело (девушка, надо сказать, была тяжеловата) завалилась на спину.

Я подбежал: «Что с вами?» – «Спина». – «Давайте я помогу встать». – «Но встать я не могу». – «Нет, давайте все же попробуем…» Я помог ей подняться. Она потерла рукой спину, сделала несколько шагов, словно для того, чтобы удостовериться, что ее позвоночник цел и она может передвигаться и с грустью посмотрела на растения в горшках, которые везла сзади в корзинке: пара горшков разбилась, остальные раскатились в разные стороны. Я помог ей собрать их. Внезапно она рассмеялась: «А ведь через час у меня свидание». – «А у меня через два поезд». – «Но на свидание я не пойду…»

Возможно, столкновение помогло ей разрешить какую-то мучительную внутреннюю проблему – я не стал спрашивать. Довольно было и того, что она невредима, а то я было испугался, что ненароком угробил девушку.

Но вообще-то мне не понравилось, что мы столкнулись. В этот день. Я вернулся домой, выпил кофе, выкурил сигарету. Все. Зеленый «абалаковский» рюкзак заброшен за спину и через час уже поезд Москва-Воркута уносит меня. Куда? Я не знаю. Мне хорошо. Я стою в коридоре у открытого окна, в котором, вместе с белой занавеской, клубится ветер; локомотив вгрызается во тьму, далеко впереди рассекая мрак своей фарой…

Кажется, сразу после Сергиева Посада – мы едва ли час, как отъехали из Москвы – я вдруг увидел, как из придорожной заросли, освещенной желтыми квадратами окон поезда, поднимается бледная фигура, сжимается, выбрасывает вперед руку… Рама раскрытого окна крошится непередаваемым звенящим звуком и мимо моей головы со свистом пролетает и рикошетом бьет в дверь соседнего купе что-то тяжелое. Дверь открывается, недоуменные лица моих соседей – шахтеров из Инты, которые уже успели сдобрить свою трапезу изрядной порцией спиртного, высовываются в коридор. На полу лежит камень. Зеленоватый кусок плотного гранита с женский кулак величиной. Если бы я стоял ближе к другому краю окна, мне бы снесло пол-лица. Дверь купе закрывается. Шахтеры не сопереживают. Я не испуган.

Однако, все-таки тормошу своего «внутреннего индейца», которого вожу с собой в дальние командировки, чтобы он не давал мне попасть в засаду собственных чувств.

– Что все это значит? – спрашиваю я его.

– Это значит, что на этот раз тебе просто повезло, – отвечает он и смежает тяжелые мудрые веки.

17 августа 1992.

Проснувшись, медленно соображаю: где я? Что-то не могу сообразить. Голубые пластиковые стены… Не слышно ни звука. Напряженно вслушиваясь в это безмолвие, вдруг слышу крик птицы. Чайка. Потом – скрип. Странный. Это скрип… Черт побери! Это скрип швартового каната на кнехте! Я на дебаркадере! Причем один. Восемь утра, а не слышно ни звука. Перегородки между каютами тонкие, я бы точно услышал, если бы был кто-то еще… Ах ты, старая злобная ключница! Пойду в город – возьму ключ с собой, чтоб никого ко мне не подселила…

Туман над рекой чуть поднялся, стали видны вдали большие портовые краны, чьи опоры я видел из автобуса, словно ноги каких-то заоблачных гигантов. От двух пятиэтажек по откосу берега мусорно сползала россыпь лодочных гаражей. Хотелось есть. Я спустился на нижнюю палубу дебаркадера, где, помнится, видел надпись «буфет». Надпись была на месте, но на дверях висел замок. Я отправился в город на поиски завтрака…

Есть города священные. Есть – возникшие от полноты, от невероятного сгущения жизни, может быть даже от счастья. А есть города, возникшие в 1949 году. Возникшие по нужде, и не по своей нужде, а по нужде века, по нужде социалистической индустрии. Таков Котлас – огромная лесоперевалочная база на водоразделе внутреннего бассейна Камы и Северной Двины, в исходе которой – Архангельск – порт и центр лесной торговли. Таков Череповец – общага на триста тысяч человек, пристроенная к гигантскому металлургическому комбинату, поставленному в точке равновесия железнодорожного маятника, соединяющего руду Кольского полуострова с углем Северного Урала. Принадлежала к числу этих несчастных городов и Печора, означая собою перекресток: реки и железной дороги. Чтобы понять это, не потребовалось много времени: города эти похожи один на другой. В них, прежде всего, все целесообразно. Есть дома, улицы, тротуары. Автобусные маршруты. Магазины. Парикмахерские. Аптеки. Кинотеатры. Библиотеки. Все, вроде бы, есть, а в то же время на сердце пусто: ничто не заставит его встрепенуться, поразившись величию замысла, проступающего в огромных массах перемещенной материи: камня, дерева, стекла, металла, ничто не поражает избыточностью творения, отрицающего, как раз, всякую целесообразность, как колокольня Ивана Великого, как Исаакиевский собор, как Тауэр или Эйфелева башня…

Положим, от маленького города нелепо ждать столичного размаха и величия, но разве город Истра не пребудет вовеки, покуда в центре его, наполовину ушедши в землю, наполовину подавшись ввысь, гигантским грибом не вспучивается храм Вознесения христова? Разве храм не удерживает город собою, как атлант небо? Да только он и удерживает! И заброшенная крепость древнего Изборска перестоит Изборск нынешний, и послужит завязью нового, который примет ее в себя, как свое сердце. Потому каждый вправе требовать и от маленького города открыть лицо свое: ибо каждый город – символ, оставленный человеком на земле. И есть совсем невеликие города, потрясающие душу следами былой пронзительной красоты, по-прежнему осеняющей их словно благословение или, во всяком случае, вопрошание о красоте и о причинах ее упадка…

Ничего подобного в городе Печора не было и выражение его лица я смело определил бы, как олигофреническое, если бы не некоторая подчеркнутая аккуратность, которую город силился себе придать. Впрочем, если что и подчеркивалось этой аккуратностью, то… Как бы это сказать? Отсутствие ч а с т н о с т и жизни, чего-то неуловимого, что заставляет людей выходить в город, жить в нем, есть, торговать, пить пиво, целоваться на скамейках, постоянно примеривая, приноравливая к себе его дома, дворы, деревья, клочки зелени, постоянно внося в изначальный, архитектурный, линейный план его неисчислимое множество добавлений в виде собственных планов, неимоверно все запутывая и делая, наконец, живым. Может быть, я слишком многого требовал от города Печора, столичный сноб? Вполне вероятно. И этот город не любил меня, отвечая взаимностью. По-видимому, он вообще не любил праздношатающихся заезжих журналистов. Во всяком случае, поесть им было негде. Потому что в городе нет кафе. Как принципа. И отсутствует принцип праздношатания, который подразумевает обязательные лирические паузы: красивый вид, на который можно любоваться, или, на худой конец, витрину, в которую можно пялиться, знакомого лавочника, с которым можно поболтать с утра и хозяина пивной, который после полуночи сам готов пропустить с вами рюмочку, какой-нибудь музей вредных жуков или фетровых шляп, дуб, посаженный в честь рождения наследника престола и, наконец, просто любимое место, хоть кем-то любимое за особую свою прелесть..

Несомненно, своеобразной притягательностью в Печоре обладали старые дома коминарода, стоящие над рекой, но их было всего с десяток; дальше начинались кварталы совершенно одинаковых пятиэтажек с дровяными сараями во дворах, улицы, на которых буквально не за что было зацепиться: меня протащило по ним, словно газету, скомканную ветром, пока не прибило к рынку, где несколько женщин с Кавказа продавали пуховые платки и теплые шерстяные кофты. В их ряды затесался один мужик, темнолицый, как бывает от суровой и жестокой по отношению к себе жизни. Продавал унты. Еды не было.

Я побрел в район пятиэтажек, смирившись с мыслью, что дохожу голодный до 10 или даже до 11 утра, когда откроются магазины, но тут случайно увидел во дворе старушку, которая с каким-то ласковым причитанием кормила во дворе кур. При этом прямо над нею на крыше сарая собралась шумная стая воробьев, которые верещали и ссорились, ожидая, когда старуха кончит рассыпать пшено и уйдет, и они наконец смогут, спорхнув вниз, в мгновенье ока обожрать этих, огромных-тупых – не знаю уж, как воробьи промеж себя называют кур – короче тех, которые промахиваются, склевывая зерна. Все это показалось мне настолько уморительным, что я подошел поближе, чтобы сфотографировать старушку, кур и воробьев. Подбежал петух и клюнул меня в ногу. Я рассмеялся, старушка стала извиняться, завязался разговор – и в результате через несколько минут я сидел на кухне ее квартирки (на первом этаже пятиэтажки) перед тарелкой с горячей яичницей и чашкой свежего чаю. Все, в чем город отказал мне, дала мне – первому встречному – эта женщина, Галина Тимофеевна. Может быть, у города не было лица, но у него была душа…

Ей было девятнадцать, когда в 44-м умер отец и она осталась одна с одиннадцатилетним братом, в деревне под Питером: «холод, есть нечего, дом после блокады разбит снарядом, санки дров привезешь, наколешь, выдохнешься – а их только на один день и хватает». В ее памяти прошлое проступает, как забота о маленьком братике, единственном родном – сквозь паутину пугающих образов: холод-голод с ввалившимися глазами и растрескавшимися в кровь губами, санки дров, тяжелые, как гроб, снег да снег, да товарные поезда, да гул железный, да замерзшие трупы…

Среднему брату семнадцать было, когда он в выходной с ребятами поехал в Тихвин; обратно поезда нет и нет – айда по шпалам. Сзади товарный. Двое с одной стороны забежали, чтоб на подножку прыгать, он – с другой. Прыгнул раз – промахнулся, другой прыгнул – там на подножке кусок снега оказался, он соскользнул, его и зарезало… Другой пятна-

дцати лет с каким-то извещеньем тоже так вот поехал до Тихвина, на подножке висел, его и сшибло снежным наметом, только по письму в кармане и опознали люди – кто. Один остался, маленький, в этом доме дырявом, холодном, пустом. И вдруг вернулся самый старший брат – он в войну на бронепоезде служил. Долго ли, коротко – направили его на Север, в Печору, здесь специалисты были нужны. Он-то и вызвал ее с меньшим: делать нечего, приехали. Получили жилье – две комнаты в трехкомнатной коммуналке. Все бы ладно. Да старший пьяный как контуженный был, не соображал ничего, и однажды, напившись, избил сестру до полусмерти, всю ее изломал, голову пробил, так избил, что она долгое время не верила, что отойдет и думала, что будет бесплодна… А отошла, вышла замуж, родила двух дочерей… Вот, они уехали из Печоры. Зятья хорошие. Ну, а у нее квартирка здесь, кошка Муха…

– Ну а младший брат? – зачем-то мне надо узнать все до конца.

– Младший? – переспрашивает она, будто забыла. – Убили его. Случайно. С первой получки взял бутылку. Пришел к старшему. У того жена в отъезде была, пошли в столовую. Сели, разлили. Тут же появился какой-то друг с племянником, что-то слишком шустро начал этой бутылкой шуровать. Старший был крут: «выйдем?» По зубам. Тут же, как водится, и помирились. А племянник за дядю обиделся, за ружьем побежал. По пьяни же. В парке он их нагнал и – младшего почему-то – выстрелом в шею прикончил. А старший через несколько лет сам умер…

Я перестал жевать. На диво страшная, банальная, советская история…

И весь этот город – в ней.

Ты думаешь, это не имеет отношение к бегству, друг мой Петр? Имеет, еще как имеет! Ведь это от этой жизни бессмысленной, жизни без судьбы, без доли и бегу я… Да, она не меня лично коснулась, но она слишком близко вокруг, бессмыслица, еще вдох-другой, и я заражусь, заболею ею, как многие заразились: и художники, и писатели, научившись создавать подлинные драмы из идиотства и абсурда, из вырождения и скотства, из недоли…

А я не хочу этого больше. Просто: не хочу. Сейчас, когда я пишу эти строки, я окончательно понял, что весь ужас нашей прошлой жизни, ужас пережитого коммунизма, которым мы даже гордились перед всем остальным миром, вступив с ним в контакт – он, действительно, у ж а с е н, как ужасны для нас нравы тюрем и лагерей, но, так же, как и рассказы об этих нравах, он никому, кроме самих рассказчиков, не интересен. И правильно неинтересен. Потому что мир огромен и прекрасен, и если у человека есть хотя бы маленький шанс узнать его с этой стороны, грех не воспользоваться им. Конечно, коммунистический садомазохизм – удивительный механизм психической саморегуляции внутри социалистической общины – достоин пристальнейшего изучения специалистов, как одно из важнейших достижений тоталитарной системы. Пусть только изучением его занимается кто-нибудь с более крепкой, чем у меня, психикой. Я сам, если уж на то пошло, продукт былой системы и единственное мое желание сейчас – вырваться из ее удручающих смыслов.

Вернее, бессмыслиц.

Я должен уйти от этого, не видеть этого, чтобы научиться различать другое. Что-то, что заворожило бы меня.

Образ. Судьбу. Характер.

Один раз мне сегодня показалось даже, что я нашел. Вернувшись к полудню на дебаркадер, чтобы купить билет на «Зарю», я постучался опять в окошечко кассы и когда оно отворилось, за спиной неприветливой кассирши увидел человека, который сразу поразил меня безупречной выправкой и благородными чертами лица: не просто умного, но редкостного, хорошего лица. Сказать, что я не видел такие лица уже несколько дней – значило бы сказать банальность – подобные черты действительно редки сочетанием красоты и внутреннего света, доброты и силы. Одет этот человек был в отличный темно-серый костюм с жилеткой при цепочке, тоже совершенно никак не вязавшийся с окружающей действитель-

ностью. После разговора с ним я почувствовал в этом своеобразный вызов – вызов достоинства. Всею своею внешностью, всеми манерами, которые проще всего было бы назвать аристократическими, если бы не совершенная простота его родословной, этот человек противопоставлял себя стихии развала и процветающего на развале быдла. Конечно, это не мог быть никто иной, как капитан дебаркадера Валентин Николаевич Оншин.

Я представился. Он, казалось, был удивлен моим несколько помятым туристским видом, но приветливо поднялся навстречу:

– Вы нормально разместились?

Очки в роговой оправе удерживали толстые линзы, за которыми глаза его казались очень большими и добрыми.

– Спасибо, нормально…

Когда я предложил ему поговорить, он поглядел недоуменно:

– О чем же мы будем говорить?

– О реке.

Мы поднялись наверх в подобие рубки, сокрытой за одной из ничем не примечательных дверей дебаркадера. Он отворил дверь на опоясывающий палубу мостик, сел, закурил. Потом стал вдруг рассказывать об убывании жизни на реке, о том, как из-за «невыгодности» сняли большинство пассажирских маршрутов, порт стоит, краны не работают (действительно, стрелы портовых кранов ни разу не шевельнулись с тех пор, как открылись взору утром), и как пустые ржавые корыта болтаются посреди реки рыжие баржи…

В избытке чувств он воскликнул:

– Разве это живая река?!

Слабость зрения и болезнь желудка не дали ему сделаться настоящим капитаном; сколько-то в жизни поменяв работ, он стал начальником речного вокзала в Печоре и так проработал два десятка лет, но, похоже, память о том, когда жизнь на северных реках еще била ключом, была свежа в нем, и он стал вспоминать, как водил по Двине неуклюжие двухпалубные колесные пароходы, на которых всем было удобно и весело, и из буфета шли люди наверх любоваться рекой, и курился на палубе самовар, и молодые танцевали…

– Может быть так казалось потому, что я сам был молод?

Увы, капитан, в тот миг я не знал ответа. Буквально через два дня я смог бы поддержать разговор, испытав на себе удобства плавания на «Заре», представляющей из себя наглухо задраенный плавучий водометный вагон. Решительно вы правы, капитан, – сказал бы я, – плаванье по реке должно быть созерцательно и неторопливо; медленно и любуясь должно плыть по реке, и, конечно, вкусив котлет или яичницы в буфете, надлежит непременно подняться на палубу, чтобы прохаживаться и потягивать чай, коль засквозит вечерняя прохлада, и танцевать, коль случится среди пассажиров хороший баянист.

Я сказал бы: черт возьми, зачем скорость, зачем нам выигранные сутки, если три дня праздника мы превращаем в два дня пытки?

Куда и зачем мы торопимся, капитан?

Почему на наших кораблях больше не отбивают склянки, капитан?

И почему теоретики прогресса принимают в расчет лишь скорость, и не принимают, скажем, во внимание тот чудный плеск воды под плицами тяжелых колес, который сопутствует движению колесного парохода? Его-то у нас отнимают, капитан, отнимают, как и возможность на палубе вдохнуть свежий речной ветер и обнять теплую талию молодой попутчицы, с которой тебе посчастливилось станцевать нечаянный вальсок на закате…

Не получается ли, что нас просто-напросто обобрали со всем этим прогрессом капитан?

Наш воображаемый разговор продолжается вот уже несколько лет. Это прекрасная и возвышенная беседа… По мере того, как у меня возникают вопросы, я их задаю, а когда

вопросов нет, просто зачитываю вслух полюбившиеся мне места из книг, которые вожу с собой. Вот, скажем, дневник Пришвина, запись 1909 года:

– Хорошо, – сказали хлысты, – Отвергните церковь. Что вы поставите на место ее?
– Что вы поставите? – спросил я.
– Жизнь, – ответил он просто…

Жизнь: из чего она складывается, капитан? Как, в каких единицах измерить чувство, возникающее при тонком смешении вечернего туманца, сумерек и запаха самоварного дымка на палубе плывущего по реке парохода? Что скажете, капитан?

Капитан всегда отвечает мне. Только что – я не знаю.

А иногда хотелось бы знать.

Вот, скажем, по Пришвину, «рядовой человек» – это достоинство. В этом смысле и крещение – заурядность, ибо крестясь, человек становится в один «ряд» с братьями. Неполнота людей, никогда не бывших рядовыми…

Глубокая мысль. Что я могу сказать в ответ? Я «романтик» и, следовательно, все еще таскаю с собою потускневший щит избранничества….Выбросить бы его к чертовой матери! Сам я не способен изменить себя, но я волен протащить себя через шкуродер пространства, так что внутренняя сущность моя не сможет остаться неизменной. Подвергнуть себя испытаниям, которые сдерут с меня все привычки, свойственные мне прежде. Пространство сделает меня человеком!

Я хочу быть проще и «зауряднее», хочу чувствовать себя в родстве с другими людьми, и в то же время я хочу быть сильнее; я хочу получить право на собственный голос; я хочу создавать события…

Что вы об этом думаете, капитан?

Конечно, думаете что-то, но я никогда не узнаю ваших мыслей. Увы! В последний раз я видел вас вечером 18 августа 1992 года: было уже поздно, я шел покурить на палубу по темному коридору, а вы со связкой ключей, не видя меня, открыли дверь в свою каюту с видом на реку, вошли и захлопнули дверь за собой. Так я узнал, что вы тоже ночуете на дебаркадере. Наверное потому, что у каждой реки должен быть страж. Верно ли я вас понял, капитан?

18 августа 1992 года.

В «Экологическом вестнике», который издает местная журналистка Валя Симашкина, услышал рассказ об удивительном человеке, Андрее Владимировиче Журавском – страстном исследователе Печерского края и столь же страстном и бескорыстном его колонисте. Этот тип людей, столь распространенный в России начала века, потом совершенно был выведен в советское время: бесстрашные одиночки с американским размахом и российским бескорыстием, в ряду которых Русанов и Седов известны, возможно, лишь благодаря трагическому, потрясшему все общество исходу их предприятий. Это настоящие герои нашей страны, о которых она совершенно забыла. «Случай Журавского» интересен более всего тем, что он был не просто сирота, но подкидыш – а распорядился своей судьбою так, что не может не вызывать восхищения[5]. Журавский последние годы работал в Усть-Цильме – староверском селе на половине пути к устью Печоры. Через Усть-Цильму уже просматрива-

[5] См. «Книгу приложений», III.

ется Колгуев, хоть и очень смутно: «усть-цилёмы» (как прозывали жителей села), подобно пустозерцам, ходили туда на промысел. Не очень-то богатая информация, но, во всяком случае, первый отголосок, первый признак того, что я, хоть и немного, приблизился к острову, который здесь, по первоначалу, казался мне столь же отдаленным, как в Москве.

К вечеру моего второго дня в Печоре из Нарьян-Мара пришла «Заря», которая вновь должна была отправиться вниз наутро. Я случайно застал последних ее пассажиров, поднимающихся по тропинке вверх на берег. Среди них было несколько иностранцев – молодых ребят с рюкзаками – выглядевших совершенно раздавленными. Почему я с ними не заговорил? Не помню. Что так удручало их? Не знаю: ведь они вернулись оттуда, куда я только собирался отправиться. Мое путешествие, ведь, собственно, еще не начиналось…

Вечером в зале ожидания на нижней палубе стали скапливаться будущие пассажиры «Зари» и мое отшельничество на дебаркадере было нарушено. Помню, я пошел в туалет варить вечерний кофе, и как раз возился у раковины с кипятильником, когда на меня впотьмах налетела какая-то тетка и, испугавшись, фыркая, как черт от ладана, выскочила в коридор.

– Не пугайтесь, – выступил я из тени, приглашая ее быть смелее. – Я всего лишь варю там кофе…

Шипение ужасного напитка, черной кипящей пеной хлынувшего в раковину, подтвердило мои слова. Однако, это окончательно сбило с толку мою будущую попутчицу и она стремглав кинулась по лестнице вниз, вероятно полагая, что избежала какой-то крупной неприятности.

Облекшись, словно в бронежилет, в свой столичный снобизм, выкуриваю сигарету «Gitanes» и выпиваю кофе. Не помогает. Какая-то тревога на душе. Небо просело, не то туман, не то дождь. Угрюмая свинцовая вода. Мокрая палуба. Красным огнем горит створа на том берегу. Изредка, ничего не буксируя, проходит буксир. Словно утопленник, по течению прошло отяжелевшее, бледное бревно…

21 августа 1992.

4 часа утра. Я уточняю время, потому что в последние пять дней время играло в какую-то непонятную игру со мной. Я выпал из привычного времени, вплоть до того, что перестал отделять день от ночи. Если правы психологи, утверждающие, что люди первобытных культур обладают «сновидческим сознанием», в котором нет «узлов», «установок» и невротических заклепок, фиксирующих образ мыслей цивилизованного человека, а действительность (и сны вместе с действительностью) протекают через сознание как фильм, то я, можно сказать, этого состояния достиг, потому что на реке сон и явь окончательно перепутались между собой. Я спал урывками, минут по двадцать, видел сны, светящийся в траве нежно-золотой лист, дуб в лесу, реку, входящих и выходящих из салона людей, лицо любимой, и снова серую воду и длинные песчаные отмели, которые оставляет река в своем блуждающем течении по низкому берегу. Недаром я не смог фотографировать, остановить пейзажи и лица этого пути: все было… Не быстро, нет. Но неуловимо, т е к у ч е.

Два дня назад в 6 часов утра мы отправились. Ничего возвышенного не было в этом отплытии: водометный теплоходик «Заря» изнутри действительно больше всего напоминает вагон электрички на 60 человек, и в этом вагоне надо ехать два дня. Бабки, дети, щеголевато одетые молодые люди и девушки, немолодые угрюмые пассажиры с багажом – все в одном пространстве. Ни буфета, ни выхода на палубу – ничего. Можно только курить в тамбуре перед кабиной капитана, слегка, с разрешения матроса Кости, приоткрыв дверь, чтобы вытягивало дым.

Быстро подобралась группа решительно выпивающих. Положил всему начало одинокий, грязный, с красным бугроватым носом и желтыми глазами вонючий старик, который подошел ко мне и спросил, нет ли у меня кружки и, получив отрицательный ответ, проникновенно поманил пальцем в тамбур. Я не отреагировал, потому что не освоился и не хотел новых знакомств, резонно рассудив, что если ему действительно надо, то он подойдет, а если так – отлипнет. Расчет оказался верным. Вскоре в тамбур вышли два шахтера (едут куда-то в отпуск) и быстро сладили дело: когда я сам сунулся туда покурить, одну бутылку они уже раздавили и собирались на заднее сидение давить следующую… Пожалуй, я начинал понимать то выражение неизъяснимой тоски, которое прочитал на лицах молодых иностранцев, повстречавшихся мне накануне отплытия на берегу… Не будь я уроженцем России, худобедно знакомым с правилами выживания в этой стране, все окружающее, несомненно, не столько поражало бы, сколько ужасало бы меня. Оно, это окружающее, в общем, не подчинялось законам, к которым я привык в Москве. Пока я был в Печоре, жил на дебаркадере, я каким-то образом еще связывал происходящее с тем, к чему привык: дебаркадер был хоть и странным, но все-таки домом, откуда – стоило мне захотеть – я менее чем за сутки мог бы вернуться обратно в свой мир. У меня не было ни одного знакомого в городе, но все же это был город. Здесь можно было купить пирожки (масляный запах и масляный свет, клубящаяся в жирных потемках очередь), мне некому было звонить здесь, но я мог бы позвонить в Москву, если бы захотел… Положим, старуха-коми не поняла меня, когда я постучался в ее дом, но все же в основном говорили здесь люди по-русски, и хотя время, казалось, течет с ужасающей медлительностью, я, усердно тормозя свое «разогнанное» в Москве время, утро встречал утром, а конец своих дневных дел приурочивал к вечеру, демонстрируя способность ждать и существовать в этих непомерно-длинных сутках.

Но вот на реке… Вдруг я начал ощущать п р о с т р а н с т в о, над которыми более не было моей власти, в котором все известные мне правила игры отменялись. Река пронизывала это пространство, связывая две точки, на которых мои правила худо-бедно действовали: Печору и Нарьян-Мар. Надо всем остальным царила полная неизвестность и если бы, повторяю, не привычка – доверие к географическим картам, которые утверждали относительно определенные вещи о местоположении г. Печора и г. Нарьян-Мар, лежащего на границе лесотундры и тундры – то я бы, несомненно, оказался в положении Ибн-Фадлана[6], вынужденного во всем, что касается Севера, быть столь же доверчивым, сколь и некритичным. Ибн-Фадлан добрался до средней Волги, где видел северное сияние (этот феномен объяснен современными исследователями), описание которого потом окольным путем почти слово в слово перекочевало в одну из сказок «Тысяча и одной ночи» как картина небесной битвы «верных» и «неверных» джиннов, настолько казалось оно фантастичным[7]. О великанах слышал он из уст булгарского царя; один из них, по рассказам, жил при дворе, Ибн-Фадлан видел его кости. Текин, отрок халифа, застал его еще живым.

В преданиях коми-народа великаны называются «менквы». Сотворенные из стволов лиственниц, они скрываются в лесах, у них острая голова и поросшее густой шерстью неуязвимое тело, они владеют живой водой, способной воскрешать умерших…

---

[6] Ахмед Ибн-Фадлан – секретарь багдадского посольства в страну поволжских булгар в 922 году. Создатель наиболее полного (в арабской средневековой традиции) свода сведений о Поволжье, областях, заселенных русами и некоторых областях севера, о которых он мог узнать лишь понаслышке. Неудача посольства (не удалось собрать в Средней Азии 4000 динариев и – возможно, в связи с этим – обратить волжских булгар в тот толк ислама, который исповедовался в Багдаде, а не на окраинах мусульманского мира) вызвала, вероятно, интриги против него, что и привело к временному забвению его труда, который спустя несколько веков вновь обнаружился в Бухаре, т. е. в Средней Азии, для которой сведения Ибн-Фадлана были наиболее актуальны.

[7] В сказках Шахерезады страна, в которой происходит небесная битва «верных» джиннов с «неверными», названа страной Шаддада, царя народа Ад, легендарного племени великанов, о котором повествуется в Коране.

Ибн-Фадлан привез из своего посольства рассказы о диковинах, множественности которых современники не переставали удивляться. Более поздние исследователи и компиляторы подвергли его сочинение беспощадной критике, и даже отказывали ему в правдивости; однако, многие даже наиболее фантастические его сведения не были ни выдумкой, ни ошибкой. Он пишет о чашах булгарского царя, сделанных из рога необыкновенного животного, живущего в прилежащих лесах. Он говорит о единороге и описывает существо, напоминающее носорога, хотя, возможно, речь идет о мамонте. Мамонтова кость – «хуту» – вывозилась в страны арабского мира, в частности, через Хорезм. В Мешхедском варианте рукописи Ибн-Фадлана также написано: «В их стране прекрасное хуту, а это лоб четвероногого животного, на которое охотятся в их стране»[8]. Если речь идет о мамонтах, то они считаются не вымершими, а живыми животными, на них охотятся. Есть достаточно оснований полагать, что как в Азии, так и в Северной Америке мамонты существовали в историческое время и исчезли (были выбиты) уже на памяти человечества. Возможно, чаши были сделаны и из рога северного шерстистого носорога, приемы охоты на которого с помощью отравленных стрел описаны у Ибн-Фадлана довольно реалистично. Люди бывалые, как, например, некий житель Сиида, живший в одно время при царе Булгар, отождествляли это животное с индийским носорогом, о чем Ибн-Фадлан также упоминает.

Но те места, куда направлялся я, для арабской географии были «Черной землей» о которой повествует сочинение Марвади, не имеющее параллелей в литературе на арабском и персидском языках. Территория эта покрыта мраком. Действительно, сюда долго не проникает «свет» никакой культуры; с трудом в сумерках, скрывающих эти земли, угаданы лишь отдельные детали: лыжи, описанные Абу Хамидом, как «специально приготовленные дощечки для ходьбы по снегу», собачьи упряжки, «рыбы», клыки которых используют на различного рода поделки…

Йакут – критик и, одновременно, внимательный читатель Ибн-Фадлана, пишет, что «у них (жителей) бывает такая короткая ночь, что они не видят тьмы, – потом в другое время года она бывает настолько длинной, что они не видят света». И вот под пологом этого света (или тьмы) и простиралась земля моей надежды…

Первая остановка, которую я запомнил, называлась Щелья-дор. Там в Печору вливалась еще река, сквозь туман в коридоре этой реки проступал заросший лесом утес, на стальной воде болталась у берега моторка, поджидая кого-то. Люди сошли, хрустя гравием побрели в сторону лодки. Я спросил в тамбуре, что означает Щелья-дор на языке коми. Мне ответили – «конец большого леса». А Щелья-юр, куда мы должны были придти к вечеру, значит «начало большого леса». От начала до конца, выходит, двенадцать часов пути.

Чем дальше, тем глуше Печора. Пошли места коми-народа, стали появляться в салоне удивительные персонажи. В одном месте зашли три или четыре бабки. В плюшевых кацавейках, крепко замотанные платками. Одна так была замотана, что голова у нее была огромная и круглая, как кочан капусты, и из всех платков выглядывало удивительное совиное личико, которое, кажется, может быть только в сказке у какой-нибудь лесной доброй б а б у ш к и, которая, однако, знает кое-какие волшебные снадобья и словечки… Одну бабку, лет девяноста, всю закутанную платками, буквально внесли в салон, как статую. Куда-то везут к родне. Она села впереди меня, неподвижно глядя вперед древними глазами, но тут я как раз провалился в полусон, и очнулся, когда ее стали выносить. Пришлось помогать: она была тяжела и неповоротлива, как шкаф, но с борта на берег подхватили ее дюжие мужские руки и толпа родственников повлекла ее вверх по тропе, к домикам выглядывающей из-за елей деревеньки…

[8] Ковалевский А.П. О степени достоверности Ибн-Фадлана. Исторические записки, т.35, М.-Л. 1950.

Печора очень однообразная река: ели на одном берегу, желтые холодные пески и непролазный ивняк на другом. Но в одном месте открылась потрясающая картина: река, как сквозь ворота, проходит через три спускающихся к ней с обеих сторон хребта, вклинивающихся в воду острыми мысами. Одни, ближние ворота, черные, другие – синие, дальние – серые. И не видно границы между серым небом и серой водой вдали. Поэтому кажется, что река течет в небо. Или в море. Туда (в небо или в море) она забрала всех, кто погиб на ее дороге от усталости или по неосторожности. Люди разных племен, все они до простейших минеральных частиц измельчены рекою и стали частью ее, связав своей плотью эти берега…

Куря в тамбуре, случайно разговорился с женщиной: простое, хорошее, умное лицо у нее, добротное зеленое пальто, шляпа. Она из деревни Захар-Вань, директор восьмилетней школы. Захар-Вань это, на коми-языке, Иван Захарович. У коми отчество стоит впереди имени. Был, значит, Иван Захарович, который основал эту деревню, а теперь ей больше ста лет. Она сказала, что сейчас живет здесь человек пятьсот. Хорошее место. Ферма коров. Совхоз распускать не хотят, несмотря на приказы сверху: в одиночку тяжело здесь, бедная земля, пески, болота… Сама она пережила три сельскохозяйственные кампании нашего руководства: кукурузу, ликвидацию неперспективных деревень и борьбу с пьянством. Деревня все три борьбы выиграла: кукурузу сеять не стала, самоликвидироваться не пожелала, водку пить не прекратила. Хотя во время кукуризации Розу чуть не наказали: она школьницей была, и их заставляли сеять. Ну, она и скажи: зачем в землю зарывать, давайте хоть съедим ее, кукурузу эту…

Я спросил: не раскулачивали их в тридцатые годы? «Нет», – говорит. Да и то – кого и куда отсюда сошлешь? Да и маленький народ – он не любит предателей. Не стучали друг на друга. Потом рассказала, как хорошо они, ладно, осмысленно живут – не то, что в городе, без толку и без ума. Молодой человек, прежде чем жениться, строит дом. Зимой, когда кончаются сельхозработы, он с друзьями или с братьями отправляется на лошадях далеко в лес, за отборными деревьями. Неделю они работают, валят лес, потом возвращаются, парятся в бане, выпивают. Весной, когда деревня из-за распутицы еще недостижима для самолетов, и река не вскрылась, начинается строительство. Вся родня помогает. К лету дом готов…

Я не удержался от невольного вздоха:

– А хорошо, должно быть, у вас жить…

Она откликнулась:

– Можете преподавать русскую литературу?

– Конечно могу.

– Приезжайте.

Шальная мысль просверкнула в голове: ведь стоит только сойти в этом Захар-Ване, просто взять рюкзак и сделать шаг с носа «Зари», чтобы навсегда выпасть из своего мира со всеми его заботами, раствориться в этом пространстве, стать одним из правнуков Ивана Захаровича, женившись на одной из его правнучек, забыть свой язык, выучить коми, как какая-то женщина из Питера, что давно уже живет здесь – и никто никогда не узнает, где ты.

Да, у каждого из нас есть повод ненавидеть свою жизнь со всеми ее заморочками и нерешенными проблемами, но достаточно ли ты простодушен, чтобы обрести счастье в Захар-Ване? Подумай, Беглец, прежде чем сделать шаг с носа корабля!

Конечно, то что Беглец вдруг высунулся, не удивило меня. Он всегда рядом, Беглец, так же близко, как мудрый Индеец, которого я ношу с собой, как бесстрашный Художник, как все пираты, путешественники и алхимики, которые живут во мне с детства. То, что он подчас заявляет свои исключительные права на меня и нашептывает поступать по своей логике, в общем, объяснимо.

Не только то, что я писал в те годы, так или иначе заключало в себе мотив бегства, но и все, что я читал. Любимые авторы так ли, иначе ли, крутились вокруг этого. Гессе: «Вернер и Клейн», «Последнее лето Клингзора». Апдайк: «Беги, Кролик, беги». Сэлинджер… Жорж Сименон: «Негритянский квартал».

Фильм Антониони «Профессия: репортер» казался простой проекцией на экран моих собственных настроений…

В конце концов, без бегства не было бы ни Германа Мелвилла, ни Св. Франциска из Ассизи, ни… ну, да, Рембо, ни… кто там еще составляет когорту великих беглецов?

Бегство вообще стало очень важной темой культуры XX века, связанной с сохранением личности, как таковой: поэтому некоторые отрицательные моменты, связанные с бегством, то, что можно было бы назвать п р е д а т е л ь с т в о м, в общем, оправдываются. Потому что бегство-освобождение представляется триумфом личности, может быть последним триумфом, но все-таки. Это симптоматичная ситуация, предчувствие тотальной н е с в о б о д ы надвигающегося миропорядка, его неумолимой машинерии и статики. Бегство подразумевает, конечно, срыв, пространственное перемещение, возможность с п р я т а т ь с я где-то за. «За горами, за лесами, за широкими морями». Возможно, бесконечные беглецы XX века будут казаться странными людям XXI века, но это будет означать только то, что последним некуда больше бежать…

Перед Щелья-юром Печора делает крутой поворот и из-за длинной песчаной косы вдруг разом возникает селение: рассыпанные на косогоре несколько домиков, ферма, кучи угля и цистерна на берегу, какие-то каменные строения – большой поселок, но совершенно без ума, как будто вот черт шел, насорил табаком из кармана – и на месте крошек вкривь и вкось встали избы, заборы и склады.

Здесь мы должны были заночевать, ибо свет над рекой потускнел и «Заря» вынуждена была прекратить плавание, чтобы не налететь ненароком на бревно. Было шесть часов вечера. На дебаркадер я вылез первым, прошел сквозь толпу любопытствующих, для которых прибытие «Зари» было событием, и быстро разыскал местную ключницу, чтобы получить койку, а не ночевать, сидя на стуле в общем зале. Она дала мне комплект белья и ключ от каюты № 51. Я поднялся на второй этаж, стал стучать: нет ответа. Сильно стучу: никого. Пробую отпереть дверь ключом: она не заперта. Толкаю. Дверь распахивается. В полутьме передо мной распростерты два трупа. Впрочем, нет… Сильнейший запах перегара… Они дышат… Живые. Просто пьяны мертвецки…

Думаю: скажешь ключнице, что не хочу с пьяными спать – она ведь обидится за них. Тоже люди ведь, нечего заноситься.

Вы мне другое место дайте, – говорю спустившись. – Там заперто так – не отопрешь, и нет никого…

Дала место в соседней каюте. Там двое с нашей «Зари». Шофер Валентин (из пьющих) и парень лет двадцати, Саша, которого я давненько приметил: он ехал с женой и ребенком и, сколько я к ним не присматривался, выходило, что жена лет на пять-семь старше его. Он – худенький, неброский мужчинка, п а р е н е к в черной кожаной курточке. А она – видная такая женщина, спелая, все мужики на нее западали и, когда она вышла в тамбур, мгновенно прицелились: кто она, да куда, да кем работает…

– Меня муж обеспечивает…

Вот тут все и прикусили язык, потому что муж-то, паренек-то, вон, оказывается, каков: по ней же видно, что она д о р о г а я женщина и своего не упустит, и большинству, значит, совсем не по силам, а он круто-ой…

Быстро знакомимся с соседями по каюте: после целого дня, проведенного впроголодь, есть хочется нечеловечески и мы, не мешкая, предпринимаем вылазку в магазин. Время,

кренясь, дрожит над нами, грозя обрушиться, как своды катакомб: до шести или до семи? Если до шести, то мы уже опоздали…

Бежим бегом, деревянные настилы улиц ухают под ногами. Магазин у порта, по виду, закрыт уже месяца два. Мимо двухэтажного горсовета с развевающимся над ним российским флагом кидаемся дальше меж серых изб, вдоль шатких заборов, за которыми видны крошечные парнички с огурцами. Издалека видим дверь, обитую железом, откинутый железный затвор, вбегаем…

Пустые полки. Килька в томатном соусе, соленые арбузы в банках, портвейн «Агдам»…

Валентин немедленно покупает бутылку.

– А хлеб?

Глупый вопрос: хлеба, разумеется нет.

Глупее может быть только вопрос – почему.

Кроме нас, в магазине был еще один человек, вид которого заставлял подозревать, что он никогда не жил под крышей человеческого жилья. Взлохмаченные волосы, в которых застряли хвоинки и разная труха, лицо, словно вымазанное дегтем, редкая борода, грязная одежда, сильно отдающая запахом земли и дыма… В сильных бурых ладонях он держал бутылку портвейна, то и дело сильно встряхивая ее, словно бы пытаясь по движению вихрящихся пузырьков разгадать свойства темного, сладкого, слабого, недостойного мужчины напитка. Наперсник водки, он, видимо, презирал половинчатую сущность вина, и, чуть шепелявя, пару раз поинтересовался у нас:

– Как цай, да?

На обратном пути возле магазина на нас налетел безумно пьяный парнишка лет семнадцати, с рассеченной правой бровью, залитой кровью половиной лица и рубахой, местами забрызганной, местами перепачканной свежей кровью. Неподвижные, как бельма, глаза его, казалось, не видели нас, но в то же время что-то он различал: то ли тени, то ли голоса, то ли свечение наших чакр, потому что, шатаясь, заступил нам дорогу и, все время поводя из стороны в сторону головой, как слепое животное, выговорил, с трудом ворочая языком:

– Э-э, мужики, дайте…

Он и сам не знал, похоже, что ему надо.

– Дайте рупь…

– Браток, – сказал я. – Давай-ка ты закури, лучше будет…

Пьяными пальцами он выковырял из пачки папиросу, истово поблагодарил и так же внезапно, как появился, исчез, стремглав пустившись по какой-то улице вниз, с риском на каждом шагу оступиться и свернуть себе шею.

Мы все рискуем свернуть себе шею или оказаться со свернутыми шеями (что не одно и то же).

Мы попали в стремное место в стремное время.

Это место – наша страна.

Страна, зависшая над пропастью, как тяжеленный грузовик, случайно, буквально чудом удерживаемый от низвержения вниз каким-нибудь деревцем, оказавшимся под колесом…

И все, что происходит, можно понять только представив себя пассажиром этого грузовика, балансирующим на краю гибели… И этот парнишка с залитым кровью, беспомощным, страшным лицом – он оттуда. Бежит по лезвию безумия, от отчаяния к надежде, от ужаса к истерическому хохоту, от последнего вскрика к первому вдоху… Неважно, кто он – шофер, дружок водителя или просто случайный пассажир, за пять минут до катастрофы забравшийся в кузов «до первого поворота». Он пытается убежать от ужасной опасности,

вырваться из засады места или из засады времени… Он хочет вырваться из тебя, 1992-й год…

На дебаркадере я попросил у дежурной электроплитку, распаковал рюкзак и, достав котелок, кружку, кофе, сухари и китайскую вермишель, сварил ужин. В вермишель вывалил банки три магазинных килек, так что получилось хоть и отвратительное с виду, но не лишенное все же питательности варево.

Одобрительно наблюдая за приготовлением ужина, Валентин, полулежа на кровати, понемногу прихлебывал портвейн из горлышка.

– Жратва – первое дело, – наконец произнес он. – На севере если не жрать – копыта сразу отбросишь…

– Тогда к столу?

Он помотал головой и щелкнул ногтем по бутылке:

– Мне пока вот этого надо…

– Саш, тогда зови жену…

– Какую жену? – вдруг изумленно вытаращился на меня Саша.

– Как какую? Свою… С которой ты ехал…

– Она мне не жена.

– А кто же? – тут даже Валентин, которого с каждым глотком помаленьку отпускало лютое похмелье, приподнялся на своей койке.

– Просто… познакомились в аэропорту, когда билеты пытались взять…

– Так не жена? – Валентина это необыкновенно воодушевило, почему, вероятно, мы и стали невольными слушателями истории, которая может показаться веселой разве что с похмелья – как какой-то мужик вьюжной полярной ночью стал трахать бабу в подъезде и она ему сказала, чтоб он потушил, что ли, свет, а он, нащупывая рукой выключатель, наткнулся на оголенный провод и через свой орган сообщил своей избраннице разряд в 220 вольт, заставивший разлететься их в разные стороны, как двух крысенышей…

Почему-то это казалось Валентину необыкновенно забавным…

Саша по слабодушию вынужден был изобразить на лице что-то вроде ухарской улыбки.

Меня это разозлило.

– Знаешь, – сказал я. – Отнеси этой… Женщине… хоть кофе с сухарями, она ведь тоже весь день не ела ничего…

Ночь. Валентин уснул, опорожнив свою бутылку. Заснул и Саша, незадачливый паж своей прекрасной дамы, согревшись едой. Мне бы тоже надо поспать хоть немного. Ночь будет коротка, как ни одна другая. Завтра, если Бог даст, я достигну точки старта: Нарьян-Мара. Мое путешествие, по-прежнему, все еще не начиналось, хотя мне кажется, что я в пути давно, может быть, несколько лет. Я забыл свой дом, я забыл и тоску по дому. Я оказался вплетенным в клубок событий, над которыми не властен. Течение реки подхватило меня и крутит, как щепку, заставляя цепляться за обстоятельства и за попутчиков, с которыми в своем мире я просто никогда бы не встретился. Обрел ли я что-нибудь? Кажется, в меня вошло немного того, что называют «свободой». Хотя я ведь не знаю, что такое свобода. Может быть – это единственный выбор, в результате которого ты чувствуешь себя человеком…

В три часа ночи – побудка и посадка. Неправдоподобно много людей хочет погрузиться на наш теплоход. Когда я продираюсь сквозь осаждающую сходни толпу, мое место оказывается занятым старухой лет семидесяти пяти – я не могу не уступить ей его. Однако, стоять

в проходе – нерадостная перспектива. Я вышел в тамбур, покурил и, в конце концов, постучался в кабину капитана.

– Так и так, – говорю. – Я журналист, вторые сутки еду, и хотел бы взглянуть, как выглядит река непосредственно…

Впустили без разговоров, сразу вопрос:

– А как у вас в Москве друг друга теперь называют – «господа» или «товарищи»?

Мне повезло: была вахта дежурного помощника капитана Александра Васильевича, это оказался очень доброжелательный человек, который и так не прочь был поговорить, а узнав, что у нас с ним дни рождения в один день, 23 декабря – совершенно ко мне расположился. Ему сорок лет, и никогда прежде не встречал он человека, родившегося с ним в один день – хотя бы и другого года.

За Щелья-юром Печора повернула на север, ударил ветер и пошла волна, которая плоскодонное наше суденышко колотила как о стиральную доску. В какой-то момент показалось даже, что мы не движемся больше, охваченные встречным течением ветра. И если б не наша встреча с Александром Васильевичем, не пожелавшем спасовать перед стихиями ввиду столь важных жизненных совпадений – кто знает? – не вернулась ли бы в этот день «Заря» в Щелья-юр?

Человеку цивилизованному жизнь Печоры будет абсолютно непонятна, или он должен будет описывать ее в терминах дикости или даже жестокости. Но я видел: никакой жестокости нет. Нет жестокости матросов, бросающих шатающийся трап «Зари» с носа прямо на песок: просто по нашему ходу на Печоре едва ли будет две нормальные пристани. И я видел матросов, на руках переносивших на берег немощных бабок.

Нет никакого злоумышления капитана в том, что видя ожидающую его на берегу толпу людей, он хладнокровно проводит мимо свой перегруженный корабль. Он просто не может взять их. В Усть-Цильме тридцать человек с берега взирали на нас в отчаяньи и в полном оцепенении до тех пор, пока «Заря», пройдя мимо них, вдруг, спустившись ниже метров на пятьсот, не повернула к берегу, чтобы высадить пассажиров, которые должны были сойти. Ведь не высадить людей капитан не может. «Заря» на несколько секунд тыкается носом в берег. От толпы ожидающих суденышко отделяли две вытащенные на берег баржи и куча завезенного на зиму угля. Сообразив в чем дело, несколько молодых без багажа со всех ног бросилось к нам. Один оступившись, растянулся на куче угля, но человека три добежало. Их, раскрасневшихся, с выпученными глазами, взяли на борт, как родных. Капитан знает правила честной игры: они заслужили. Когда корабль, отрабатывая машиной «полный назад», отходит от берега, с тремя счастливчиками на борту, Александр Васильевич несколько раз обращается в мегафон к людям на берегу:

– Извините, «Заря» переполнена, взять вас не можем…

Люди потихоньку начинают расходиться…

– Извините, «Заря» переполнена, не можем никого взять…

Представляю, какое бешенство охватило бы какого-нибудь правительственного деятеля, окажись он на месте этих людей! Как разрывала бы его, привыкшего к холопскому исполнению всех своих капризов, бессильная злоба! Какими словами поносил бы он капитана, какое ужасающее будущее уготавливал ему за то, что тот осмелился пройти мимо, «не заметив» его, не придав его нуждам никакого особенного значения!

Ну, а люди на реке живут так п о ж и з н е н н о. И власти Коми-республики, и уж тем более власти России – они не просто не знают обстоятельств этого житья, они, я подозреваю, просто не знают, что эти люди есть. К счастью это, или к несчастью? Бог весть. В России всегда за добро считалось держаться от властей подале.

Если деревня была дальше, чем за десять километров от берега, где, прячась под каким-нибудь одиноким деревом от ветра и дождя, ждали «Зарю» люди, капитан их обязательно брал. Если деревня рядом – без угрызений совести проходил мимо.

– Ничего, – объяснял он мне. – Они вернутся домой, будут пить чай. Мы их на обратном пути возьмем…

Капитан не врет. И у людей нет на него обиды. На остановках экипажу «Зари» приносят простоквашу, семгу. Все по-родственному. Капитан на всей реке – единственный командир и перевозчик. Капитана любить надо, чтобы в с л у ч а е ч е г о взял, чтобы не отказал, когда, действительно, припрет: а так сутки подождать – не велика важность. И матросов надо любить. Какая-то девушка на остановке ласково гладит матроса Костю по руке, тихо спрашивает:

– Не останешься?

В Новом Боре все пассажиры «Зари» пересаживаются на скоростную «Ракету», за два часа пролетающую оставшуюся сотню километров до Нарьян-Мара. «Ракета» больше и вместительнее «Зари», но все равно, рейсы ее так редки (три раза в неделю), что после двух остановок и она оказывается опасно перегруженной и капитан ее, точно так же, как и капитан «Зари», вынужден прибегать к хитрости, чтобы высаживать пассажиров, но не брать никого на борт. Загвоздка в том, что «Ракета» с подводными крыльями не может, как «Заря» подойти вплотную к берегу. Волей-неволей она должна ошвартоваться у причала, на котором ждет ее толпа людей. И люди эти прекрасно знают, что к чему, знают, что скорее всего, «Ракета» и на этот раз не будет чалиться, а все манипуляции матроса со швартовым концом – просто уловка, призванная усыпить их бдительность. Так и есть! Трое спрыгнули, матрос захлопывает бортовую дверцу, ком сизого дыма вспухает за кормой стремительного изобретения человечества и вся толпа остается с носом, кроме одного человека, который, словно брошенный ладонью великана, смешно махая в воздухе руками, вдруг п р и л е т а е т к нам с пристани и шлепается на палубу.

В одном месте чуть не произошла трагедия: на судно мать передала младенца, но сама прыгнуть не успела – «Ракета» уже взревела турбинами и между ее бортом и стенкой пристани заблестела полоска воды, которая с каждой секундой становилась все шире… Я видел, как женщина в отчаянии примерилась прыгать в последний раз, но «Ракета» уже далеко отошла от стенки, раскатившись буруном пены и начала набирать скорость… Люди на берегу ахнули, те на «Ракете», кто успел сообразить в чем дело – во всяком случае те, что держали на руках младенца – закричали тоже, но капитан, кажется, ничего не заметил…

Женщина, как птица, бросилась вниз к моторке, за нею мужик, яростно рванул мотор…

Увидев мчащуюся вослед «Ракете» лодку, капитан показывается из рубки, по сумбурным вскрикам пассажиров понимает, что случилось что-то неладное и глушит двигатель. «Ракета» оседает в воде, женщину в слезах поднимают на борт. Вздох облегчения…

Меж тем попытку догнать «Ракету» предпринимает и какой-то солдатик (судя по парадной форме, он был отпущен в отпуск домой). Но не сразу заводится лодка, а посему погоня его безнадежна. Увидев, что мать и дитя воссоединились, капитан неумолимо врубает двигатель на «самый полный», лодка солдатика втыкается в пенный шлейф, остающийся за кормой «Ракеты» и служивый, потеряв и скорость, и надежду, исчезает за кормой…

Под вечер, обогнув длинный зеленый остров, входим в один из бесчисленных мелких рукавов Печоры, на котором стоит Нарьян-Мар. Честно говоря, не мог себе представить, что дело обернется так кисло: все-таки я ожидал увидеть город – а города не было. С реки видны только штабеля леса, несколько портовых кранов, угольно-черный теплоход «Кол-

гуев», типовой дебаркадер, заборы складов и одинокий домишко типа конторы на высоком песчаном берегу…

Шел дождь. Было холодно. В замешательстве прислушиваясь к ударам капель по железному настилу дебаркадера, я остался один. Все пассажиры разбрелись кто куда. Мои знакомые – Валентин, Саша «с женой и ребенком» забрались в кузов поджидавшего кого-то из них трехосного ЗИЛа и, закрывшись от дождя брезентом, отбыли, даже не махнув, как говорится, на прощанье рукой.

Подхватив тяжеленный рюкзак, я сошел на мокрый песок и, оказавшись среди черных от дождя складских заборов, изрыгнул в небо малодушное проклятие и отправился искать гостиницу…

Стрелок и беглец

Подхватив тяжелый рюкзак, он сошел на мокрый берег и отправился искать гостиницу…

Утром он убедился, что приблизился к цели. Не то, чтобы остров стал ближе (его очертания по-прежнему были скрыты: только бараки были в сетке дождя, газовые трубы, дровяные сараи, бельевые веревки с болтающимися на них подштанниками, да спаривающиеся собаки). Но ближе стал край мира. Оттуда долетал иногда ветер. Один такой порыв он поймал, пожирая на улице кусок копченой оленины и зеленый перец, купленный с лотка: вдруг в сером небе над его головой будто разорвалось что-то и он оказался в потоке чистого холода. Все веревки барачного города загудели, как снасти корабля, а кусок мяса чуть не вырвало ветром изо рта. Чтобы ударить с такой силой, ветер должен был разгоняться на бескрайних просторах, где ни единый выступ земли не помешает его разбегу…

Туда, за край, вскипая серой свинцовой волной, уходила дальше Печора. И хотя на дебаркадере он нашел расписание рейсов вниз, на Кую и Красное – в них не верилось, ибо с тех пор, как «Ракета» доставила его в Нарьян-Мар, он никогда больше не видел у мокрой причальной стенки ни одного пассажирского судна…

В лесу за городом обнаружились гигантские песчаные котлы – следы ударов ветра куда более сильных, чем застал его на улице. Стертое с лица земли городище Пустозерского острога – напоминание о недобром знамении[9] – несколько трухлявых бревен, несколько упавших, выбеленных непогодами надмогильных крестов; в траве, среди дрожащих на ветру куртинок камнеломки и стелющегося по земле шиповника выдутые из могил человеческие кости; шум, беспрерывный шум всклокоченных лиственниц и елей, плещущей озерной воды, шум мира, раскачиваемого ветром, как корабль – все это едва не вывело его из равновесия. Что ни говори, а там, откуда он приехал, почва не была столь зыбкой, но он ухватился за строку, строка удержала его, слово подбиралось к слову, спасая его, и так он узнал, что знает слова, которые могут спасти.

Мхи разбухли от влаги тумана, сапоги промокли насквозь, в горле саднило, в гостинице было по-прежнему холодно, но он выдерживал ночь за ночью, цепляясь за слова, которые вынужден был записывать в неимоверных количествах, чтобы не впустить в себя страх:

«*Чахоточный день. Дождь, туман. В такие дни местные жители поплотнее задергивают толстые шторы и погружаются в сонный домашний уют. За окном – плюс шесть. Может быть, уже сентябрь? Или ноябрь даже? Опять ощущение, когда из лесу брел через пески к гостинице, что отсюда нельзя вырваться: это какое-то заколдованное пространство – оно может выпихнуть тебя еще дальше, но выпустить назад? Сомнительно…*

Что же я все-таки намеревался тут найти?

Слово: вот ключ ко всей этой истории. Ну что ж, найду и слово. Для меня слово рождается из вещественности мира, мне нужно только смотреть и слушать, больше ничего. Поэтому-то я и лезу, чтобы шкурой прочувствовать то, что станет потом словом. Я бы хотел еще рисовать. Но это – очень в глубине, почти погибло… Если бы я смог рисовать снова, это было бы, наверно, самое счастливое знамение в моей жизни. Это значило бы, что

[9] Повелением государя Ивана III Пустозерск был основан в 1498 году. Но заложен в неурочное время, «при щербатой луне», отчего в самую пору его строительства распространилось высказывание одного из московских ратников, что «не бывать здесь добру». Позже это высказывание, передаваемое из уст в уста, многократно было усилено проклятием отца раскола, протопопа Аввакума, который в час своей казни, согласно легенде, выкрикнул, что место сие занесено будет песком и сгинет без следа. Пророчество это сбылось: в нашем уже веке, когда Пустозерский городок и без того потерял былое значение, Печора изменила русло и ушла налево, а протока Городецкий шар (прежде – главное русло Печоры), на которой стоял Пустозерск, обмелела и превратилась в ряд связанных одна с другой стариц, проходимых только для лодок. Все это привело к окончательной гибели поселения.

я прощен: с меня совлекли все заботы, которыми справедливо или нет, но тяготится моя душа, и вернули замечательный дар детства. Дар молча выражать восторг перед загадкой мира, который сопутствовал мне до тех пор, пока я не задался вопросами, на которые желал бы получить точный словесный ответ, но, не получив, пустился на розыски сам, подбирая слова кропотливо, придирчиво выискивая, но никогда почти не находя слова такого же безусловно красивого, как цвет, такого же точного, как линия, такого же всеохватного, как рисунок… Слово как-то в е р т л я в о. И ничего не поделаешь с этим. Нельзя поручиться, что поиски стоят усилий, но и не искать нельзя…»

Внутренний монолог неизменно упирался в вопрос о целесообразности и мысль о возвращении мелькала, конечно, не раз. Но, во-первых, он чувствовал, что пространство и в самом деле не выпустит его, и если ему суждено вернуться домой, то только побывав там, з а к р а е м. Во-вторых, билет на вертолет был куплен. Ну, а в-третьих, он осознавал, конечно, что бегство, это многолетнее внутреннее бегство по страницам дневника – слишком затянулось, и если сейчас он не сделает шаг, чтобы претворить это убегание во что-то еще (хотя бы в один рассказ, хотя бы в один кадр, хотя бы в перышко, привезенное в подарок любимой), то дальше ему придется уже метаться по лабиринтам собственного поражения, до тех пор, пока он окончательно не свыкнется с тем, что проиграл.

Но нет! На проигрыш он был не согласен: пусть он не знал пока ответов – зато появилось много новых насущных вопросов. Он привык думать, что вопрошание о смысле жизни предполагает ответ, но вот – у него не было ответа, а смысл, ему одному, может быть, дорогой смысл в виде этих неразрешенных вопросов – был. Кроме того, ему, несомненно, везло. Город был невелик и, соответственно, цепочка знакомств коротка: на вторые сутки его свели с человеком, который три года был председателем Острова. Поморская фамилия – Корепанов – была необычайно созвучна заключенной в этом человеке корневой крепости: это был невысокого роста, очень сильный, лет сорока пяти медленный человек с серыми выразительными глазами. Совершенно спокойными и, вместе с тем, пронизывающими глазами, которые внимательно оглядели Беглеца и, пока тот говорил, сверлили его будто бур корабела, изучающего качество материала, из которого изготовлен предъявленный ему человеческий корабль – его киль-позвоночник, его ребра-шпангоуты, сухожилия, мышцы, оснастка, обшивка. Но главное – его мотор, его сердце. В целом конструкция, на поморский взгляд, была слабовата, но для летнего времени удовлетворительна. Мотор… Мотор сбоил, выдавая неуверенность и страх; и то, и другое чувства были, в общем, понятными, важнее было разобраться в принципе: что за приводные ремни приводят его в движение? Что за желания вращают его? Какую энергию он потребляет?

Бутылка питьевого спирта, разведенного градусов до пятидесяти по вкусу хозяина, выставлена на стол. На полпути ко дну Беглец вдруг понял, что выдержал испытание, хотя видно было, что Корепанов дорожит островом и не желает делиться им с первым встречным. Нет сомнения -12 некоторое особенное, свойственное только Беглецам виновато-растерянное выражение глаз не ускользнуло от его собеседника, но, вероятно, он, Беглец, сказал или сделал что-то такое, что убедило бывшего председателя в том, что его неожиданный гость, несмотря на слабость оснастки, может быть все же благословлен на исполнение своего странного, да и ему самому еще непонятного замысла. Лишь в конце разговора, на книжных полках, с полу до потолка занимавших стену комнаты, Беглец замечает «Саламину» Рокуэлла Кента и еще россыпь книг, которые, только в ином порядке, привык видеть в книжном шкафу у себя дома – и только тогда понимает, что человек, который испытывал его, способен понять гораздо больше, чем показалось ему на первый взгляд.

Потом, много спустя, он понял, что ничего такого не сказал и не сделал, он просто подтвердил и еще раз подтвердил свое намерение попасть-таки на остров; он приехал изда-

лека, это было необычно, всегда необычно наблюдать человека, подхваченного водоворотом судьбы и не осознающего этого… Председатель наблюдал; а он-то, дурак, полагал, что снискал его расположение тем, что никто из местных журналистов никогда не бывал на острове, никто никогда – а он поедет…

Но Корепанов назвал ему людей, к которым он смело мог обращаться от его имени с любой просьбой и предложил пользоваться книгами. Так часов за сорок до отлета Беглец узнал пароль и получил ключи.

Ночью в гостиничном номере на черно-белую пленку (другой не было) переснимал какие-то темные, цвета старого дерева, лики, мгновенно обесцвечивающиеся негативом рисунки синих китов, цветущих сопок, оленей, солнц… Остров все явственнее проступал сквозь убористые петитные строчки словаря Брокгауза-Ефрона очертаниями «неправильного эллипсиса», изрезанного речными долинами и пересеченного несколькими грядами холмов, сложенных осадочными породами. «Последние, – утверждалось в словаре, – результат работы обширной реки древней геологической эпохи, которая весьма вероятно протекала по долине реки Печоры, являющейся в таком случае ее остатком…»

О, Печора, текущая из вечности в вечность! Под хмурым небом в сторону океана, ёршась волной по-над водами древнего моря; моря сокрывшегося, соленого, прежде теплого; моря черного, как рассвет слепца, густого, как нефть. Здесь земля на много ярусов вглубь пропитана водою, и если ты, несчастный, бегущий по этим волнам, еще не понял, что мир – многослойный пирог, то будь добр, вникни в суть дела, прежде, чем решишься отведать его…

Кто кого поучает здесь? Беглец ли в гостинице разговаривает сам с собою, мучимый ожиданием, автор ли влез со своим сомнительным правом вторгаться в текст, где ни попадя, или это звучат уже новые, доселе незнакомые голоса?

Стрелок.

Стрелок возникает неожиданно, как образ еще одной книги, полной пространства, света, радости. Юный лучник в одежде охотника, целящий вверх, в летящего гуся. Беглый рисунок пером, легкостью и выразительной простотой линий однозначно свидетельствующий о времени своего создания: начало 60-х. То же подтверждал простой, энергичный, легкий язык:

«…По веревочному трапу перебираемся на подошедший, прижавшийся к черному мокрому борту „Юшара“ бот „Колгуевец“. Кричат чайки.

С корабля что-то выгружают на бот – мешки (наверное, мука и соль), ящики, бочки. С острова приехали ненцы, часть занята выгрузкой. Работают молча.

Красивая, только мокрая, одежда из шкур. Яркие орнаменты.

Очень холодно.

…Над серым морем ослепительно желтое и холодное небо.

Два часа ночи.

Когда выгрузку закончили, к нам подходит человек:

– Ну, пошли чай пить.

Этот домик на берегу ближе остальных к причалу – наверное, поэтому нас сюда и позвали…»

Чувство зависти не было чуждо Беглецу и в то же время сердце его исполнялось надежды. Предчувствия не обманули его – таким, именно таким представлялся ему берег спасения – пахнущим морской солью, мешковиной, солярой, мокрым деревом и шкурами, с криком чайки (обязательно!) звучащим над…

На год, всего лишь на год опоздал он и «Юшар» – тот самый старый добрый «Юшар», расписание рейсов которого он приметил когда-то в Архангельске – никогда не подойдет к Острову в ночной тишине, и он, стоя на палубе под ослепительно-желтым небом, никогда

не услышит, как с грохотом потянутся из клюзов якорные цепи, и тяжелые якоря, ухнув в ледяную воду, не застопорят пароход в виду гостеприимных домиков на берегу…

Книга художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко «Остров Колгуев» дышала свежей памятью и предвкушением встречи – то, о чем говорилось в ней, не могло исчезнуть, еще были живы люди, с которыми вместе пили они чай, еще сами они были живы, а следовательно, могли поручиться за свои слова…

И опять, лишь много времени спустя до него дошло, что ставшие на острове живою легендой Ада и Володя приехали сюда задолго до того, как появилась книга, не художниками еще, а просто ребятами, студентами, приехавшими делать диплом, и это было в 59-м и в 60-м, еще до его рождения, д а в н о. Конечно, им повезло: они застали еще время кочевья, последние дни века кочевья на острове, ста лет кочевья, за которыми проступали другие века, тысяча лет безостановочного движения народа вслед за оленями по бескрайним материковым просторам.

Когда Ада и Володя приехали на зимовку, люди тундры уже начали вселяться в дома на берегу, но между домами, вытянувшимися в одну линию вдоль морского берега, то-и-дело появлялись чумы, обед люди готовили по-прежнему, разводя на улице костер, собирающий семью воедино, да и сил у них было еще так много, что подолгу сидеть дома им было просто невмоготу и они часто срывались в тундру к родственникам, которые оставались жить там, видя лень и одышку в оседлости.

Однажды студенты дождались своего часа – их позвали с собой, дали упряжку и нарты:

«– Это будут твои олени, твои санки…
Сколько лет я ждала этого? Десять? Двенадцать?…»

Милая Ада, девочка Ада, как же так? Тебе, выходит, десять-двенадцать и было, когда Остров из тьмы Севера засиял, как изумруд и своим льдистым светом околдовал тебя в твоем Киеве, где – Боже мой! – весной сирень у Выдубицкого монастыря над Днепром словно волны, переливается всеми оттенками голубого, синего и лилового, где цветущие вишни подобны застывшим дымам и розоватые соцветья яблонь наполняют каждый вдох сладострастной свежестью, а от горячего солнца приходится прятаться в тяжелую тень платанов…

Да, выходит так и было, Ада: ведь именно в детстве мы наследуем земли, которые нам суждено потом покорить…

Возможно, книга Ады – лучшая из всех, написанных о Колгуеве. В ней нет ничего лишнего, она исполнена подлинной поэзии, которая дает автору право не замечать ничего уродливого, той животворящей поэзии, которая даже тупость военного ведомства, запрещающего называть «стратегические объекты» своими именами, обращает себе на пользу: так на страницах появляется маяк «Норд» – блуждающая звезда на кромке последнего берега, за которым нет уже ничего – только льды и ночь, до самого полюса. Не «Северный», а именно «Норд»: только так, и никак иначе надлежало называться маяку на территории спасения. «Северный» – просто обозначил бы одну из бесчисленных запретных зон того времени, «Норд» же заключал в себе память – хотя бы память о тех временах, когда норвежские шхуны подходили к острову то с севера, то с востока, обходя стоянки, которыми исстари пользовались поморы, и как одну из них ветром, который русские называли «полунощник», а норвежцы как раз «норд», снесло на пески и посадило на мель, и среди добра, которое ненцы успели снять с корабля и перевезти на остров, прежде, чем шхуну разбило волнами, оказались две фарфоровые чашки…

Книга заключала в себе ряд намеков, по-видимому, важных для Беглеца, поскольку они оказались среди сделанных выписок, но к чему эти выписки, он мгновенно забыл и понял лишь много лет спустя, когда от души подивился их ясности и недвусмысленности:

«…В тундре вообще ничего не пропадает…»

Речь шла, как будто, о предметах: чашках, ложечках, часах, старинных ружьях, за которыми тянулись длинные, похожие на сказки истории. Но в то же время речь шла и о чем-то другом, у г р о з у чего он смутно ощущал: «Приехавший сюда человек не может быть временным по какой-то внутренней перспективе своей работы; приехавший сюда человек и не бывает временным, его жизнь здесь не кончается с его отъездом; как нигде в другом месте сохраняется память о нем – о его поступках, о сказанном им…» Он чувствовал, что речь идет о долге, о долге, который свяжет его свободу, свободу Беглеца. Но он не чувствовал себя должником Острова, поскольку еще и не побывал на нем. Да и впредь он не желал принадлежать ему, не желал сопрягать себя со словом «долг»; в конце концов, он хотел только увидеть Остров – и все. И никаких долгов, только захватывающие дух приключения…

С восторгом прочитывает он страницу за страницей, слегка завидуя двум счастливцам, олени которых, по брюхо проваливаясь в ледяную трясину, все же вытягивают их накренившуюся упряжку с одеждой, этюдниками и красками на простор цветущей тундры, к древним холмам и становищам, где живут люди с именами прекрасными, как слова позабытого древнего языка: Уэско, Таули, Иона, Иде…

Здесь открывается им мир Стрелка. Здесь, в зеленой чаше, на дне которой покоится золотая льдинка озера, по-прежнему бродят стада, горят в сумерках костры и старики рассказывают детям про женщину, которую давным-давно прибило к острову на льдине, Хаду Ваэрми; про то, как она жила, догоняя оленей и убивая их, до тех пор, пока кто-то не взял ее себе в жены и она не осталась на острове навсегда. Здесь маленький Иона поет дедовы песни, сидя на зеленом холме, здесь полновластно еще время кочевья; быт, при котором ни одна палочка длиной в карандаш не должна сгореть зря; жизнь, в которой каждый шаг, каждый жест отполирован временем до совершенства, до символической фигуры…

Стрелок. Он отважен и юн, и его ждет прекрасная будущность вольного сына природы…

Чудный живописный язык, несравненный язык художников, краски которого в пространстве книги то сгущаются до предельной плотности, то разводятся до полной почти прозрачности, завораживает, как речитатив шамана: он бессомненен.

«Вечностью веет от пустынных берегов, где под фиолетовыми пластами торфа видны спрессованные столетиями слои ракушек и камней…

Ископаемый лед…

Вечная мерзлота…

Вечность…

Вечность живет в какурах – островитяне забыли, кто сложил эти каменные знаки, увенчанные плоским, напоминающем человеческий профиль, камнем, всегда обращенным в сторону моря: своеобразные маяки заблудившимся в тундре…»

Вечность, рай.

«Сколько бы я заплатил, чтобы замедлить ход времени?

Чтобы ощутить светлую радость бесконечно длящегося мгновения, как в детстве?

Пробуждение.

Облако.

Трава.

Но Боже, о чем это я? Как можно купить это? Платить придется чем-то другим, не деньгами: собой придется платить…»

В последний момент Беглец начинает, наконец, кое-что понимать. Но у него нет желания противиться Судьбе. Записи последнего дня, несмотря на некоторую хаотичность, выдают спокойную покорность умыслу, который из совершенно мимолетного мечтания превратившись в категорический императив, все дальше увлекает его к центру воронки.

Столбики денежных подсчетов завершаются печальной констатацией: *«Остается свободных денег максимум на десять дней при аварийно-скромном житье…»*

Далее, с тем же недоумением: *«Досадно. Взял столько ненужных вещей и не взял самого главного: теплой одежды. Еще вопрос: не сперла ли у меня горничная банку тушенки?»*

Еще дальше: *«Я все же пытаюсь собраться и настроиться на дорогу. Сушу и промазываю гуталином сапоги, варю на плитке гречневую кашу, чтобы завтра утром, а в случае чего и днем была еда (котелок с кашей я затолкал сверху рюкзака, обернув его газетой, чтобы гречка не высыпалась). Опыт всего этого путешествия, проходящего несмотря на всю его бессмысленность, в настроении „не поворачивать назад“ – говорит, что надо быть готовым ко всему. Может быть, завтра мы улетим. Хотя погода такая, что не заболеет только юродивый…*

– Да вы, батенька, никак, трус?

– Все мы, знаете ли, трусоваты в известных обстоятельствах».

Бессонница злорадствовала, не пуская ночь вступить в свои права и та попыталась отыграть свое утром. В результате, не успев даже позавтракать, лишь прихватив рюкзак с кашей в котелке, прыгает Беглец в старенький «Запорожец» Корепанова, который медленно, чтобы не разодрать машине брюхо на выбоине, поторапливается аккурат к опозданию. Но, видимо, знает, что делает: посадка давно закончилась, зал пуст, но его пускают. Пограничник на контроле едва взглянул в командировочное удостоверение: «Билет…» «Паспорт…» «Какого черта вы опаздываете? Бегите…»

Оранжевый Ми-8 с черным нагаром копоти на кожухах, прикрывающих мотор, отличался от двух таких же только тем, что дверь салона была еще открыта. Он побежал по мокрому бетону, потом по мокрому песку – наискосок – потом по бетону опять. Пассажиры, видно, только что расселись и когда он сунулся в салон, он понял, что как раз на него-то с его рюкзаком и не хватает места. Он был лишний, чужой. Он просунул голову внутрь и стал совать кому-то рюкзак: «пожалуйста, передайте». Те, внутри, попались на его удочку, рюкзак исчез куда-то и он смог втиснуться. Обе скамейки вдоль бортов были заняты; посреди вертолета, с пола до потолка, возвышалась целая гора вещей, чудовищная груда, в любой момент, кажется, готовая развалиться на куски. «В хвост, в хвост», – сказал второй пилот, поднимая трап.

«Извините», – изо всех сил он цеплялся руками за все неровности внутренней обшивки вертолета, но места было так мало, что чья-нибудь нога да оказывалась под его ногою, – «Извините». Никто ничего не отвечал: он был лишний, чужой. На него не стоило, пожалуй, тратить слова.

Дверь захлопнулась, пошли винты. Вместе с запахом гари он ощутил незнакомый, диковатый дух людей. Почти все были ненцы, в основном, почему-то женщины, несколько детей. Грохот винтов пригнул их, многие склонились вперед и закрыли глаза. Он понял, что им тяжел дух машины, они сразу слабеют перед ним. Мальчишка склонился матери на плечо и уснул. Он смог немного поразглядывать их: смуглая кожа, симпатичные лица, на матери – очки, дешевая болоньевая куртка, вязаная магазинная шапка, пластмассовая заколка для волос, старые, давно вышедшие из моды осенние сапоги…

Вопрос к Аде, возможно и возник бы, но тут он увидел напротив человека в резиновом плаще. Его лицо вибрировало вместе со всем, что только было в вертолете, но силы небесные! Что это было за лицо!

Что это было за лицо? Черты его он не запомнил, а только общее впечатление, вот, как и от плаща тоже. Ибо он не мог сказать, что это был за плащ, какого, хотя бы, цвета. Резиновый плащ, желтый, что ли, или бежевый, из которого торчала жилистая красная шея, обмотанная какою-то тряпкой, так что могло статься, что плащ этот надет прямо на голое тело, потому что какая-то жуть была в нем, в этой старой, потрескавшейся резине, или в худом теле, которая она облекала, ибо если тело соответствовало оболочке, то это, конечно, было тело, видавшее виды и всякого рода пренебрежения, как плащ, выброшенный на помойку и случайно кем-то подобранный… А лицо… Худое, жилистое продолжение красной шеи, так-то обычное, но вообще-то н е з д е ш н е е лицо, преображенное неустанной работой духа spiritus vini. Неусыпно бескрайними зимними ночами трудился над этим лицом демон-алкоголь, то озаряя эти бесцветные глаза сполохами северного сияния, то вымораживая их до самого дна лютой похмельной тоской, то борозду за бороздой наводя сеть морщин, то, недовольный работой, влепляя такую оплеуху своему подопечному, что все его лицо перекашивало от затылка до нижней челюсти, и, по-видимому, не раз, о чем свидетельствовали торчащие совершенно в разные стороны рыжие волосы, разной величины уши, скособоченный нос и полная ассиметрия всех прочих деталей портрета, который, в конечном счете, выражал… Да, он выражал сосредоточенность, присущую глаголу «держать» – худая красная рука, действительно, придерживала лежащий под сидением мешок – но в более общем смысле это лицо выражало беспечность отчаяния, которую в равной мере можно было принять и за радость, и за безумие. Этот человек, несомненно, был отпущен на время из ада и возвращался в ад: это столь явственно обозначалось всей его фигурой, что Беглец вдруг почувствовал дурноту в животе оттого, что они попутчики.

По счастью, в этот момент вертолет, наконец, взлетел и он мгновенно провалился в величественную галлюцинацию предосенней тундры, которая то просто пульсировала за стеклом иллюминатора оттенками всевозможных цветов, то вдруг разворачивалась перед глазами, как исполинская книга символов, тело символов, на котором вытатуированы все знаки, когда-либо в целях профанных или сакральных, научных или артистических измысленных человечеством. Он видел пространство, то расцвеченное как кожа жемчужной ящерицы (темно-зеленый с золотыми песчинками, вкраплениями голубого, желтого и изумрудного), то словно зеленая жаба (с характерными бежевыми разводами по зеленому, в бурых бугорках, полю), то как огненная саламандра (желтое на черном), то видел вздутия, натурально напоминающие панцырь черепахи. Видел реки, петляющие, как змея, видел реки, ветвящиеся, как деревья, озера в виде чудовищ, в виде гигантских излучин, в виде чаш, в виде глаз; озера цвета старых доспехов и потемневших зеркал; озера, расплескавшиеся, как небо; озера рыжие с мутной, неосветлевающей водою. Он видел внизу круги, круги в круге, кольца, соединенные единой цепью, линии, перекрестья, квадраты, пятигранники, октаэдры и прочие, совершенно непривычные глазу формы и сочетания цветов – будто он смотрел в микроскоп на срез растения или, напротив, в телескоп наблюдал поверхность другой планеты…

Поразительно, что все возможные формы наличествовали в этом грандиозном каталоге, человеку не надо было ничего измысливать; Кандинскому не надо было писать свои декларации о взрыве, в котором рождается искусство и цвет, не надо было блудить в слове и блуждать кистью – но он просто не летал на вертолете над осенней тундрой, творящей изобилие цвета из бесплодных болот и вянущего мха…

Пустыня надвинулась. Сначала сопки со сбитой ветром макушкой или глубокой воронкой, почти кратером, раздутым до размеров незаживающей, смертельной раны. Потом –

волны песка, обманчиво застывшие в своем беге, как волны моря; вода блестела повсюду как осколки слюды… Беглец вдруг почувствовал, что это и есть край, дальше некуда, как будто сейчас лопнет что-то и они вывалятся за.

Но тут вертолет стал снижаться: он ощутил это сначала как наплыв телекамеры, потому что там, внизу, вдруг различил маяк, изорванный ветром серый двухэтажный дом и рассыпавшиеся по всей тундре вокруг ржавые бочки из-под горючего. Потом увидел бегущих к вертолету людей, которых безжалостно сек песок, взметаемый блестящими, как ножи, лопастями: женщины поворачивались спинами к потокам песка, поднимали воротники, дети прятались за раскачивающиеся гудящие бочки…

Он так и не понял, коснулся ли вертолет земли своими шасси, второй пилот просто рванул дверь, глянул в глубину салона и тогда человек в резиновом плаще подхватил свой мешок и, добравшись до двери, прыгнул вниз. В следующий миг вертолет взмыл вверх, клубящийся вихрь в последний раз охватил этого человека; его резиновый плащ, его мешок, его лицо, его волосы – все устремилось в одну сторону, все накренилось и – в следующий миг уже исчезло из виду. А потом пошло – земля/вода, земля/вода и – край: синие, привольные волны, разбивающиеся о полосу плотного серого искрящегося песка. И если б не загадочная пустота этого пляжа, подозрительная пустота, да не бревна, то тут, то там выброшенные на берег, то кто бы сказал, что это не Майами-бич, или как они там называются, эти бесконечные счастливые побережья теплых океанов, где горячий песок и смуглые женщины, как кофейные зерна, в умопомрачительных для воображения количествах?

«Ну, вот», – только и успел подумать он. На самом деле то, что он испытал, нельзя было даже назвать облегчением. Он чувствовал что спасен, раз этот человек в резиновом плаще не летит больше с ним. Вход в ад оказался ближе того предела, к которому он устремлялся и много раз потом, разглядывая карту, чтобы понять – где – он по понятным причинам отвергнув маяк «Норд», неизменно натыкался на звездочку маяка Ходовариха на мысе Русский Заворот, вместе с Гуляевскими кошками прикрывающим с моря устье Печоры. Маяк был обозначен на карте, как нежилой, чего не могло быть – не мог без присмотра стоять маяк на гибельной отмели тяжелого, как свинец, моря; а потом эти люди – это же не нежить какая-то была, а женщины, дети, он видел их сам – затерянных в холодной просоленной пустыне на краю мира волею невероятного пасьянса судеб. Но кто тогда скажет, кто был этот странный пассажир – точно ли адский житель, как со страху померещилось Беглецу, или хранитель огня, бессмертный светитель, отец рода и оборитель грозного безумия, терзающего его, как волны берег? Раз за разом, словно пулю, всаживающий в себя очередную поллитру и все же остающийся в живых.

Каждый раз остающийся в живых.

И эта беспечность отчаяния, запечатлевшаяся в чертах его лица – не была ли она платой? Платой за опыт столь знакомый, платой за путь Беглеца, пройденный до конца?

Вопросы не успели разрастись до угрожающей степени, потому что, едва он успел хорошенько подумать «ну, вот» и оглядеть провалившихся в забытье пассажиров салона, как вертолет снова стал падать вниз и он увидел надвигающийся на него рваный берег, три ряда домов у самого моря и мокрые разрезы вездеходных следов, которыми была иссечена тундра за поселком, и почему-то сразу понял, что видит то, к чему так долго стремился.

Остров.

Сидя в самом хвосте, он никак не рассчитывал встретиться с Островом прежде тех, что сидели рядом с дверью и уже, столпившись, переговаривались с теми кто был снаружи. Но тут сзади что-то лязгнуло и распахнулись створки грузового люка вертолета, его рюкзак скатился вниз и он, не долго думая, прыгнул за рюкзаком. Вертолет стоял в центре заполненной народом деревянной квадратной площадки, настеленной прямо на болото. Запах болот-

ной воды и гниющих растений защекотал было ноздри, но в следующий миг был развеян порывом холодного ветра. Его никто не ждал, а потому никто и не замечал.

Он взял рюкзак и пошел. Пошел уверенно, будто знал, куда: вслед за всеми. По доскам мимо ржавой цистерны, к которой была приделана гофрированная труба и помпа, качающая воду из болотца. Через трубу надо было перешагнуть, но в ней была, видно, трещинка, из которой била струйка желтоватой воды, совершенно похожая на струйку какого-нибудь сорванца, окатывая всех проходящих. Он попытался увернуться, но не тут-то было: то ли напор усилился, то ли порыв ветра качнул струю, но штанину ему все-таки обделало. Ладно, – подумал он, – штанина не лицо, в лицо бы не хорошо, чтоб нассало бы…

Почему-то все эти первые мгновения он запомнил с абсолютной точностью. Мысли и слова отпечатались в мозгу, как на бумаге, а увиденное осталось как серия кадров, в некоторых из которых, словно в обрывках кинопленки, присутствовало движение и звук, но в основном неподвижных и немых, как фотография. Всего таких обрывков было шесть и сделаны они были примерно в первые 180 секунд по прибытии в поселок, который так и остался для него последовательным развертыванием одной и той же серии картинок.

1) Налево по ходу движения: это, значит, труба с писалкой, хлюпающая помпа, болотце на дне оврага, в нем – утопленный остов вездехода и несколько ржавых бочек; с той стороны два барака; собака, привязанная, лает; пьяные, четверо, качаются, черные…

2) Направо по ходу движения: вездеход… Не остов вездехода, а целый, вроде бы, вездеход, вглядываясь в который он поймал себя на твердой уверенности в его полной, мертвой неподвижности. Разбитая фара и окно кабины, ржавчина, прижившаяся на бортах с какой-то хозяйской наглостью, и… Да, за ним не было следа. Он еще не врос в землю, но уже как бы прирос к ней, трава пробивалась под гусеницами и между гусеничных траков. За вездеходом, среди желтой болотной травы стоял аккуратный домик, окруженный мачтами, укрепленными системой растяжек. За домиком – громадное, в два или три этажа деревянное здание, очевидно, контора.

3) Прямо по ходу: приятный вид. Перекинутый через овраг мост, какие-то люди на мосту, на той стороне, на зеленом пригорке – крепкий серый архангельского типа деревянный дом, за ним красная тряпка полощется на ветру. Белье: красное и белое, на синем фоне с пробегающими по нему ослепительными искрами. Море.

После третьего взгляда он спросил у кого-то из идущих с ним рядом людей, где гостиница.

– А во-он, – охотно показал человек на ближайший одноэтажный дом, крашеный ржавым корабельным суриком.

Надо же, как близко, – подумал он.

4) Гостиница (прямо по ходу и справа): против того серого дома, через овраг. Тоже на пригорке, над морем, на самом лучшем месте. Шагов двадцать до обрывистого берега. Ну, тридцать. Вечерами он будет выходить и смотреть…

В этот момент откуда-то долетел крик. Дикий крик дикого существа, заметившего добычу.

– Эй!

«Не мне», – сжавшись, простонал внутри один голос.

«Тебе, тебе», – бесстрастно оборвал его другой.

Он не сбавил шагу и не обернулся, даже когда раздался второй окрик. Голова работала четко: «Конечно же, это те, четверо, с той стороны оврага. Сильно пьяные. Мужики. Не молодые. Не побегут».

В этот момент он услышал тяжелый топот ног бегущего к нему по настилу моста человека и обернувшись увидел:

5) С той стороны бежал человек в расхристанной телогрейке, черной вязаной шапке из-под которой на мокрый смуглый лоб падали и налипали длинные волосы.

– Стой, стой, – захрипел он, надвигаясь все ближе, пока не приблизил свое, разверстое, словно рана, лицо почти вплотную к лицу Беглеца, – у тебя, конечно, есть выпить?

Лицо. Если бы неделю назад на него набежал человек с таким лицом, выражающим в самой предельной степени вопрошание и требование, алкание и страдание, неясную угрозу и смирение, и при этом осиянное изнутри каким-то неистовым огнем, он бы, наверно, напугался до смерти, ибо там, в его мире, такое лицо могло принадлежать только сумасшедшему. При этом лицо было так же изношено, морщинисто, темно и ассиметрично, как и все прочие лица, о которых он совсем недавно готов был сказать, что н и к о г д а прежде не видывал таковых. Видимо, он удалился от дому слишком далеко, поскольку таких лиц становилось все больше и больше. Среди этих лиц его собственное лицо, сохранившее, несмотря на некоторые неудобства дороги, всю свою столичную гладкость и выражение легкого надменства, было нескромностью, почти вызовом. Естественно, они сразу вычислили его. Похоже, с этим придется смириться. Но надо сказать ему, что водки нет – так говорил Корепанов.

– Нет, – произнес Беглец твердо. – Выпивки у меня нет.

– Есть, – убежденно повторил пьяный.

– Нет, брат, водки у меня нет, – упрямо повторил Беглец, глядя прямо в это лицо, качающееся перед ним во всей уродливости своего пьяного вдохновения. – У меня есть табак. Хочешь закурить?

Пьяный промолчал: по-видимому, он не задумывался над этим вопросом.

– Я не вру тебе, не обижайся. Зачем мне тебе врать? – подсказал Беглец.

– И правда: зачем? – согласился пьяный, расхохотался и, взяв сигарету, покачиваясь, побрел обратно.

Тогда он тоже развернулся на 180о и увидел:

6) Поселок. Разбитый, хлябающий под ногами идущих настил улицы по-над морем, пьяные столбы, ни один из которых не стоял вертикально, но в той или иной мере желал уподобляться пизанской башне, в зависимости от наклона то натягивая, то заставляя провисать старые провода. Море было слева, внизу. Там на серой глине отлива лежало две или три моторные лодки, валялись ржавые бочки, радиаторы батарей… Справа от настила были дома, несколько рядов бараков, промежутки между которыми были застроены сарайчиками, собранными из всякого подручного материала; на крышах сарайчиков сушились желтые кости. Издалека все это казалось бесформенным табором труб, антенн, перегородок, бельевых веревок, собачьих конур, дровников и еще более крошечных сараюшечек, может быть, погребов, меж которыми эхом перекатывались взвинченные женские голоса и собачий лай, будто там, внутри поселка, творилось что-то неладное. В просветах за домами была видна плоская, как стол, бурая болотистая равнина: до самого горизонта, на сколько хватало глаз. Порывы ветра то пропускали, то скомкивали и уносили прочь далекий низкий звук дизеля.

Никто не позвал его пить чай.

Вертолетная площадка почти опустела.

Те, кто должен был улететь на материк прибывшим бортом, уже загрузились внутрь. Он подумал, что, может быть еще не…

Нет, это была мгновенная слабость: черт с ним, он даже не заметил, когда ушел этот борт. И только тогда, когда взглянув на вертолетную площадку, он убедился, что она пуста, он понял, что отныне он перестал быть всем, чем был до сих пор, ничто не сковывало, но и не защищало его, и то, что он называл своим «я», то тело, хотя бы, которое помогло ему совершить все эти пространственные перемещения – теперь всецело находилось во власти Острова.

Солнце скрылось, пошел дождь.

Тогда он сделал еще один поворот на 90о и прямиком пошел к зданию, которое сразу окрестил «конторой» и которое с фасада было стилизовано под гигантский деревянный чум с пристроенной к нему слева громадной избой (что, возможно, особенно эффектно выглядело с моря, а также с определенных ракурсов воздушного пространства, куда можно было вознести начальство).

Внутри было полутемно, длинный коридор, зеленые стены.

В совете никого не было. Он отыскал кабинет директора совхоза, постучал и приоткрыл дверь. Навстречу ему из-за стола приветливо поднялся высокий человек в костюме, с умным, выразительным в крупных чертах костистым лицом и с надеждой двинулся навстречу:

– Вы – зоотехник?

– Нет, – вынужден был сознаться он.

– Значит, зоотехники не прилетели, – с печальным спокойствием констатировал директор. – А кто же вы?

– Я фотограф.

– Кто?

– Фотограф.

Почему-то он решил назваться фотографом. Собственно, в том и заключалась свобода, что никто здесь не знал его и он мог позволить себе быть кем угодно. Фотограф… Очень удобно! Не задавать дурацких вопросов, что он делал всю свою журналистскую жизнь, не интересоваться тем, что не притягивает интереса. Ходи и смотри. Хочешь – спрашивай. Хочешь – молчи. Молчи хоть все время, никто не посмеет тебя упрекнуть: почему это ты не интересуешься нашими проблемами? Почему не спрашиваешь о поголовье оленей и поставках угля? Никаких таких обязательств. Зато право вглядываться чуть-чуть пристальнее, чем это позволено другим, право видеть то, что составляет никому непонятную привилегию этой странной профессии…

Легкость, с которой совершилось это превращение, потрясла его не меньше, чем слово «фотограф» директора. Некоторое время тот думал, потом, кажется, понял:

– Из «нарьянки», что ли?

– Нет, из Москвы.

Повисла тягостная тишина.

Беглец оглядел кабинет – слишком большой, а потому холодный – свернутое переходящее красное знамя за шкафом, карту острова на стене. Карта заинтересовала его, он сделал несколько шагов и стал ее разглядывать.

– Председатель сейчас в отъезде, – выдавил из себя директор. – Пошел на повышение… В округ… Улетел… Тем же бортом, что и вы… В смысле, прилетели… Не встретились?

– Я в лицо-то его не знаю, – беспечно сказал Фотограф.

Все-таки здорово придумано, черт возьми: фотограф. Пусть теперь директор сам думает, что с ним делать. Но только, ради Бога, пусть думает побыстрее…

Ведь уже полдень, наверно? В животе тупо ширилась боль. Котелок с кашей так и лежал в рюкзаке. Он ничего не ел с самого утра. Сейчас хотя бы чаю бы…

Директор все еще недоумевал, что легко читалось на его благородном лице.

– Знаете, – подсказал Фотограф, – речь идет о материале, посвященном двум художникам, которые когда-то здесь жили… Вы, наверное, знаете? Ада и Володя… Поэтому я просто хотел бы встретиться с теми, кого они рисовали, увидеть тундру…

– Увидеть тундру?

– Да…

Ага. Директор ведь неглупый человек. Он умный человек. Он понимает, что вся эта затея с художниками, даже если это правда – это какая-то московская блажь. Блажь мира,

для него несуществующего, непонятного. Однако, этот парень здесь. И, значит, кто бы он ни был – фотограф, картограф, тайный агент окружного управления сельского хозяйства или международного КГБ – порядок действий остается неизменным:

1) поселить его в гостиницу;

2) выдать талоны в магазин, чтобы смог отовариться;

3) при первой же возможности отправить в тундру, как он сам того и желает.

Ну, а дальше все просто. Опять гостиница. Две холодные, как мертвецкая, комнаты, восемь кроватей, застеленных белым, как снег, бельем. Он – единственный постоялец. Кухня: несколько мятых кастрюль, сковородка, электроплитка, пустая фляга для воды. За водой для чая приходится бежать к тому самому болотцу возле вертолетной площадки и черпать ведром, встав на ржавую бочку. Опустив в кружку кипятильник, он замечает что в воде, подобно броуновским частицам, перемещаются какие-то маленькие живые существа. По мере того, как вода нагревалась, они двигались все быстрее, но вот уже она стала слишком горяча для них, они замерли и, побелев, выпали осадком на дно. Ничего страшного, это рачки, циклопы: но по первому разу он, конечно, осадок сливает. Вот: пьет чай, и, подкрепившись разогретой на плитке кашей, выходит на улицу.

И весь остаток дня поселок Бугрино постепенно открывается ему как все более развернутая и всеобъемлющая метафора запустения, обнажая одну за одной подробности своей… не ужасающей, нет, а каждодневной жизни. Ведь день обычный, будний, 26 августа 1992, среда.

Правда – танкер на рейде, шлюпка у берега, матросы за магазином продают водку. Пьяный день. Разбитое стекло, рассеченная бровь, парень с залитой кровью головой, женский крик: «Женя! Женя!», два схватившихся тела катятся под угор к морю, скользя по вылитым тут же помоям… Старик подходит к матросам, трясет пустыми руками, хрипит, взывая, потом срывает с себя тулуп – те только смеются, морщась и отворачиваясь от этой жалкой, свалявшейся, пропахшей самоедским потом добычи…

Очередь у магазина, застывшая в покорном ожидании открытия. Тут же грызущаяся стая вожделеющих кобелей, по очереди влезающих на податливую, закрывающую глаза суку и порывистыми, по-солдатски торопливыми движениями вонзающих свои воспаленные ожиданием оголившиеся органы в подставленную ею бутоньерку. Рядом, прыгая с бочки на бочку, дети ловят в болоте пиявок. Когда он достает фотоаппарат, они разбегаются. Остается одна девочка, любопытство которой усиливается прирожденным кокетством.

– Как тебя зовут?

– Мира.

Когда-нибудь он скажет ей, что благодаря ей только и удержался на грани отчаяния в этот день. Она первая посмотрела ему в объектив, когда всё, всё от него отворачивалось или пряталось за уродством, подсовывая то пьяных, то кривых, то упившегося мужика, лежащего башкой в болотной жиже, ухом и половиной черепа в воде: хошь так снимай, хошь этак; выдающаяся мразь, не каждый день увидишь ближнего в столь жалком положении и столь беспомощным…

Но он не снимает. Он ехал сюда не за этим.

Если Остров – это, то он проиграл.

Он покупает батон хлеба и спускается к морю. Остров продолжает испытывать его выдержку, демонстрируя пляж: битые бутылки, собачьи челюсти, оленьи рога, куски шкур, обглоданные кости, просто ржавое железо, кирпичи, ржавое железо в виде механизмов и бочек, в виде тросов, или в виде вообще непредставимом, как обручи до конца истлевших бочек, сами состоящие уже целиком из солей железа, торчащие из песка, как ископаемые ребра, или куски кораблей…

Насквозь проеденный ржой черный, с оранжевыми крапинами, остов небольшого суденышка, ощерившегося на белый свет своим разорванным рылом: видимо это все, что осталось от бота «Колгуевец». Он сфотографировал его, как своего рода достопамятность. Пегий пес, рыскавший возле останков корабля, заметив его, злобно и трусливо завыл. Он выл, прикрыв глаза, несчастный выродок, исторгнутый за худосочие из стаи, клубящейся вожделением; безумие и злоба резонировали в его гиенообразной пасти, задние ноги тряслись от страха, шерсть на крестце ершилась, а поджатый хвост закрывал оказавшийся ненужным, сжавшийся орган, который более сильные его собратья торопились использовать по назначению. Беглец подумал, что сейчас не выдержит и галькой покрупнее отшибет этому ублюдку голову…

Почему-то Остров вызывал в нем темные, дремучие чувства; он требовал созвучия в том, чем сам был переполнен. Остров, о котором он так долго мечтал, требовал развоплощения мечты. Он требовал убийства за право лицезреть свою пьяную рожу и гнилые зубы. И речь не об этом жалком псе шла, речь шла о мечте. О мечте, что вела его долгие годы.

Он подумал, что любая жертва возможна, но эта – нет. Мечта была чиста перед ним. Мечта была невинна.

Он решил увести ее подальше от людей и подкрепить чем-нибудь. Он двинулся берегом моря, обойдя пирс и кучу угля, за которыми, собственно, кончался поселок. Воды прилива уже подступили. По ним иногда легкой рябью пробегали капли дождя, а иногда, когда в разрывах туч вспыхивал луч солнца, в желтой воде он видел вихрь светлых песчинок, поднятых со дна. Вероятно, эти песчинки и вычерчивали ту неровную линию, которой каждая волна отмечала свое наступление на берег. Здесь, за поселком, пляж был почти чист, море смыло человеческие следы, жизнь продолжалась в своей извечной пульсации. Волны набегали и откатывались, с тихим шорохом впитываясь в ноздреватый песок; на берегу попадалось только то, что и должно было попадаться: камешки, ракушки, комья бурого торфа, вывалившиеся из-под обрыва от неустанных сотрясений моря. Он увидел у самой ноги панцырь какого-то дивного существа, которое едва не раздавил: это было крупное, в палец длиной, ракообразное из отряда равноногих, *Mesidotia entomon*, этакая рачья шейка без глаз, но с усиками, покрытая довольно жестким хитиновым панцырем, снизу отороченным острыми выступами, прикрывающими лапки этого странного существа в его придонной жизни. Панцырь был пуст, лишь несколько песчинок шуршало в нем: он положил его в карман, бережно завернув в носовой платок. И тут вдруг из-за облаков грянуло солнце и вдали моря словно всплыло и засверкало ослепительным серебром зеркало, а на небе выстроился такой парад туч, что он едва не закричал от восторга.

Нет, что ни говори, а он все-таки достиг Острова. И увидел Баренцево море!

Чайки, что-то промышлявшие на отмели, с его приближением забеспокоились и стали одна за другой взлетать, испуская резкие крики. Но, по-видимому, он не казался им столь уж опасным существом, потому что они неизменно возвращались и вновь усаживались в мелкой воде, выжидательно повернув головы к берегу. «Там в море впадает речка» – догадался он. С каждым шагом к нему возвращался покой. Чайки на отмели, шорох и рисунки волн на песке, тучи, величественно клубящиеся над морем, от начала своего пребывающем в беспрестанном движении, столь похожим на неподвижность…

Корабль.

Его он заметил издалека: отчетливый темно-серый контур вдали, прекрасно различимый весь от кормы до носа, линией которого подчеркивалось непреодолимое стремление вперед. В то же время корабль был неподвижен: очевидно, стал на якорь. Он двигался по берегу в сторону корабля и теперь, пройдя километра три, мог разглядеть его лучше. Это был большой, настоящий океанский корабль. Он не сразу заподозрил в нем что-то не то, но постепенно, оглядывая море, которое под дождем становилось совсем серым, а в солнеч-

ном свете начинало играть то желтизной, то зеленью, беспрестанно меняя цвет, оглядываясь на злополучный танкер с белой кормовой надстройкой, оранжевым спасательным ботом и пятнышком флага на флагштоке, он все более изумлялся тому, что этот корабль совсем не меняет свой цвет. Не было на нем и флага. Не было шлюпок и снастей. Только корпус, над которым вились птицы – странного темного цвета корпус, будто корабль был выстроен из земли. И только когда солнце вдруг осветило корабль и он узнал ни с чем не сравнимый цвет ржавчины, к которому так присмотрелся за сегодняшний день и разглядел пустые провалы окон, он понял в чем дело: это был корабль-мертвец, давно оставленный людьми, давно уже, видно, вросший в песчаную мель и служащий прибежищем лишь птицам да ветру, на все лады завывающему в его разрушенном теле.

Еще один труп.

От поселка определенно попахивало смертью. И когда он, поравнявшись с чаячьей отмелью и, действительно, перейдя вброд ручеек, поднялся на берег, где заметил какое-то строение вроде коровника, первое, что он увидел, был фантастический механизм, похожий на сваренную из железа голубятню, который стоял (или валялся) там, на берегу, возможно, только для того, чтобы именно ему, именно в этот день огласить приговор, начертанный на железном боку белой краской: «Бугрино – убойный пункт».

Обстоятельства часто подбираются прямо к настроению, но столь прямодушная страшилка почему-то не испугала, а скорее позабавила его. Он достал фотоаппарат: просто, чтобы никто не смог сказать ему, что он все это выдумал. В конце концов, то что было написано – адрес грузовой доставки – не заключало в себе ровным счетом ничего страшного. Вот коровник, похоже, оказался совсем не таким безобидным строением. Ворота его были заперты. Ветер трепал оторванный от стены лист гофрированного железа, из-под которого торчала стекловата, ветер то подвывал, то ныл в трубах отопления, окутанных истрепанными клочьями утеплителя (о, зимние ветры, стирающие наждачкой поземки зазубрины человечества на северных отмелях мира!), ветер же доносил сладковатый запах смерти. Смерть затаилась где-то поблизости. Он пошел навстречу запаху и внезапно наткнулся на овраг, доверху заваленный черепами оленей.

И в этом не было ничего страшного. Но в с е ч е р е п а б ы л и р а з б и т ы. Не пробиты, а именно разбиты, изуродованы, надтреснуты. Он видел проломленные носы, раздробленные челюсти, обломки рогов: прежде, чем умереть, эти существа были подвергнуты какому-то страшному испытанию – по-видимому там, в этом самом коровнике, за закрытыми воротами которого как сказочный дракон, ждало часа своего торжества зло. Зло, которое чувствовало себя хозяином здесь.

Он не стал фотографировать черепа – свидетельство его торжества. Он не хотел ничем подтверждать эту победу. Пусть это было глупо: но он не хотел разыгрывать остров своей мечты по правилам, которые зло предлагало ему.

Он попал в ловушку и не знал, как вырваться из нее. Возможно, он так и не нашел бы выхода, если бы не испил чашу отчаяния до дна. Ибо он встретил Стрелка.

Было около пяти вечера, когда он вернулся в поселок. Буря, бушевавшая в нем днем, улеглась без следа. Шлюпка с танкера ушла от берега, водка, предлагаемая матросами, раскуплена и, соответственно, выпита, и все, выпившие ее в должной мере, успокоились райским сном, перед тем, как низойти в геенну утреннего пробуждения. Он шел по совершенно пустой улице вдоль моря, когда возле огромной спутниковой антенны, похожей на пятиметровую тарелку, установленную на улице на специальном лафете возле типового барака, увидел человека, с которым ему сразу захотелось заговорить. Шкиперская борода обрамляла его круглое, загорелое лицо, не только умное и доброе, но – он просек это сразу, специалист по лицам! – подчеркнуто сохраняющее некоторую особенность лиц с т о й земли, что-то

неуловимо привычное, почти родное. Одет этот человек был, как и почти все в поселке, в ватник, только не черного, а синего цвета, но на голове у него был берет, артистически прикрывающий несколько прядей седых волос, а во рту была трубка – безусловно, символ не менее значимый, чем костюм председателя.

Беглец подошел и вежливо представился.

Ласкающим движением проводив кошку, сидевшую у него на плече, человек поднялся и протянул руку:

– Вот… Заведую эти хозяйством.

– А что это?

– Станция радио-телевизионной космической связи.

– Связи… Телеграмму от вас отправить можно?

– Только от нас и можно…

Слово за слово, и вот они уже идут вглубь барака; в коридоре темно, грязно, он наступает ногою в таз, полный окурков…

– Извините…

– Нет, это вы меня…

…Но зато дальше комната, теплая, роскошно теплая, изысканно теплая; только тут он понимает, что промерз до самой селезенки и, присев на стул, чувствует, что его развозит в тепле, как пьяного, голова не держится, глаза слипаются, он не может говорить, только улыбается и смотрит, смотрит, и набирает телом тепло. Климат здоровый, сухой, полупустынный, окна, выходящие на море, от табачного дыма приобрели какой-то перламутровый блеск и, в общем, сделались непрозрачными: день или ночь за окном, еще можно различить и, соответственно, иногда время. Если день яркий, то в два часа свет солнца падает аккурат на часы со сломанным якорем, которые кто-то принес починить. «Тик-так», «тик-так» – повсюду эти сухие звуки убывающего времени, похожие на пощелкивание, ленивый стрекот и монотонное шуршание жесткими подкрылками каких-то пустынных насекомых, попрятавшихся в траве… То есть, ну, конечно… Заснул. Спрятавшихся, значит, среди немыслимого количества предметов, заключенных в этой каюте. Каюта – подходящее слово, поскольку остров дрейфует, весь остров целиком; со скоростью не то 20 см, не то 20 м в год по направлению к материку, и когда-нибудь, конечно… Так что это скорее домашние насекомые, или даже птицы, поселившиеся на столе, на подоконнике, за осциллографом, среди разобранных телевизоров и радиоприемников. «Тик-тик», «цык-цык», или сложнее: «тики-так-тики-так». Или: «цык-тики-так-цык»… Даже хорошо приручeнные часы, разбегаются, конечно, в разные стороны, норовя навязать мирозданию свой ритм, но все же выстраиваются по сигналу универсального времени раза два в неделю.

– Так телеграмма? – вдруг раздается голос хозяина. – Куда будем отправлять?

– В Москву.

Он сказал «в Москву» и вдруг ощутил всю неестественность сказанного. Ведь никакой Москвы нет: это он ощущал давно. Так куда же он будет слать свои приветы? И кому? (пугающая мысль). И в какие слова облечет их?

Но тут лицо его нового знакомого просияло, как солнце из-за туч, и во всем его лице проступило что-то нежное, неукротимое, детское. Улыбка:

– А я из Питера…

Из Питера! – тут только он понял, кто они – заброшенные за край мира два соотечественника, два гражданина великих городов!

«Цык-тики-так-цык»… Конечно, время должно идти по вкусу хозяина, здесь нет смысла чересчур приравнивать его ко времени Гринвича, но едва ли кто-нибудь кроме них двоих на этом острове знает, что за местечко этот Гринвич, и почему, собственно, отсчет времени начинается на этом несчастном нулевом меридиане, а не в той точке пространства, где

застал тебя рассвет? Обсерватория – странный аргумент здесь; но не там, там, где Москва и Петербург – лишь две стороны одной медали, разделенные всего-то шестью-семью часами сладкого сна в вагоне поезда, да пятью с чем-то веками довольно-таки скверно складывающейся истории, а связанные… Тремя веками все той же истории, чуть менее беспощадных к отчизне нашей, и в эти три века – Бог мой, чем только не породненные! Дочь и сын единой многотерпеливой матери родины, связанные как сердце и ум, как Софья и Петр, как прихоть великого царя связана, хоть бы и отрицанием, с прихотливым замыслом предков, связанные, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева связано с путешествием Пушкина в обратном направлении; связанные самим противостоянием своим и неотторжимой от этого противостояния взаимной влюбленностью – два великих города, поднявшиеся над дикой порослью лесов и болот, два фрегата, красующиеся среди торговых шхун и толстобрюхих барж…

Как трудно, должно быть, понять постороннему человеку, почему, встретившись в тайге или в тундре, москвичи и питерцы обнимаются, как родственники, нашедшие наконец, повод к примирению: они могут, наконец, говорить. Говорить на языке общей культуры и общей вины, в результате которой ни сложившаяся за эти три века культура вообще, ни литература, ни философия в частности, да и вообще ничто, даже жизнь святых подвижников, даже идеализм первопроходцев и первопокорителей Востока и Севера не оказался столь же вдохновляющим для «народа», как бесчинства пьяной матросни в революционные годы и воцарившаяся в то время в душах атмосфера погрома.

Вот о чем, например, можно было бы поговорить, или даже помолчать москвичу и петербуржцу, поскольку они есть с о у ч а с т н и к и русской истории, а не страдательные заложники ее, как обитатели прочих пространств, и уж, во всяком случае, сего дальнего берега, где что и припомнить? Разве только налет ямальских ненцев под предводительством Ваули на Обдорск[10] в котором тогда, в начале XIX века, только и было, что два десятка домов да острог; протопопа Аввакума да миссионерские поиски никогда не существовавшего народа ням-самар-ях, предположительно прозябающего в верховьях реки Таз, никогда не знавшей истории более длительной и достоверной, чем история городка Мангазеи, оказавшейся не продолжительнее одной краткой человеческой жизни…

Как великие навигаторы, рассуждающие о парусной оснастке своих кораблей, могут они обсудить достоинства древнеегипетских коллекций Эрмитажа или Музея изобразительных искусств, поговорить о музыке, о симфоничности Петербурга, о литургичности Москвы, об особенностях московского и петербургского гения, или о роскоши двух елисеевских магазинов на Невском и на Тверской, или об эротике городских кариатид – их все равно никто не поймет, поскольку разговоры о такелаже большого корабля недоступны лодочнику или паромщику.

Именно это и происходит: на протяжении нескольких минут Беглец и начальник станции космической связи разговаривают, наслаждаясь в з а и м о п о н и м а н и е м, но затем сигналы точного времени, сообщенные по радио, возвращают их к действительности, в каюту с непрозрачными окнами, расположенную прямо по ходу великого дрейфа острова. Их двое, только двое, способных уразуметь принципы, связующие события в историю, а камни – в Исаакиевский собор или в Храм Василия Блаженного, ничем, кроме их обоюдной памяти, не подтвержденные здесь, в разбитом пьяными штормами поселке, гниющем на морском берегу.

Впрочем, оказывается, что их трое: Беглец сразу не заметил сидящего в углу за столом маленького человека в синей чешской фуражке, над которым курится канифольный дым и рассыпается какою-то легкомысленной музычкой радио, являющееся частью исполинского

[10] Обдорск – до 1933 года название Салехарда.

сооружения с панелями из серого металла – радиостанции 60-х годов, которая упорно посылает в пространство сигналы о дрейфе острова на юг и принимает ответные сообщения.

– Пишите нам: «Москва, „Лимпопо“», – произносит радио, и в этот момент Беглец окончательно понимает, что память есть, но никакой Москвы нет. И не может быть.

Кажется, то же самое приходит на ум и начальнику станции, который раскурив трубку, вновь берется за часы. «Так-цыки-так-тики…» Хорошо прирученные часы, правда, вроде попугайчиков или чижей: ткут и ткут неповторимую мелодию, хотя кажется, что твердят все время одно и то же. Ничего подобного. Трех, даже двух часов достаточно, чтобы…

– А с меня Ада Стрелка писала, – осмеливается вставить свое слово в беседу навигаторов этот маленький человек в углу. – Когда я в третьем классе был.

– Стрелка?!

Он невысокого роста, даже, можно сказать, маленький, с двенадцатилетнего, так, паренька. Филипп Васильевич Соболев, заместитель Михайлыча, то есть начальника станции. Отправляет телеграммы и осуществляет дежурную связь с большой землей. Сотни километров пролетает его голос, когда он выходит на связь:

«– Прием.

Прием.

Слышите?

Значит, один…

Значит, два…

Значит, три…»

Это «значит» всегда выдает его. Естественно, он тоже выпил сегодня: а чуть повезет ему выпить немножко, как оно появляется. Все уже знают: «значит, один…» Ему сорок лет. И он не врет.

Сидя и покуривая предложенную сигарету «Житан», он говорит Фотографу, что отведет его к женщине, у которой Ада с Володей жили и которая до сих пор переписывается…

Барак в глубине поселка. Старуха. Стоит, прислонившись спиною к косяку открытой двери, неподвижно глядя в глубину темной комнаты. Там телевизор. Слышны звуки сериала.

– Вот, – как дорогого гостя, выставляя вперед Фотографа, счастливо улыбается Филипп Васильевич, – Я, Нина Петровна, ему сказал, что ты… Сможешь рассказать про Аду и Володю…

Старуха долго не поворачивает головы, вглядываясь в темноту, потом бросает на приезжего взгляд, один только взгляд:

– А что рассказывать? Разве он сам не знает?

Филипп Васильевич виновато улыбается, зовет к себе: «немножко выпить есть». Это знак высочайшего благорасположения. Когда он, наконец, убеждает Филиппа не расточать это благорасположение понапрасну, тот снова извинительно улыбается:

– Она еще расскажет… Просто все бабы, они смотрят… это кино…

Они расходятся. Пожалуй, кружок по поселку: чтобы придти в себя и понять, кто он сам-то, черт возьми – Беглец, Фотораф или двухпалубный фрегат, на подходе к острову сдуру распустивший все паруса и в результате налетевший на мель с такой помпой, как будто выполнил сложнейший тактический маневр? Да, народец здесь странный. Вот что буквально он прочел в глазах старухи: «хочешь стянуть у меня слова об Аде и Володе, хочешь, чтоб я отдала тебе их, а потом добавить своего вранья, сшить все это и продать, как хорошую шкуру?»

Норовистая бабушка, ничего не скажешь. Но откуда она знает, что он не вор? Она может не знать. Имеет полное право не знать. А объяснять… Как это объяснишь? Остров дрейфует, ничто не остается неизменным, все меняется со скоростью мультипликации. Вот,

например – существует человек как замысел. Замысел художника или замысел Творца, которому и мы, и сам этот человек вольны верить или не верить. Неисполнение замысла есть трагедия или комедия, во всяком случае, сюжет длиною в краткую человеческую жизнь, в тридцать лет.

Художник – всегда максималист, он не желает считаться с условностями и обстоятельствами жизни. В своем предначертании будущего он безаппеляционен, как Бог, сотворяющий человека для высокого служения. И так появляется Стрелок – мальчик, натягивающий тетиву лука на холме, вольный сын природы, Великий Кочевник, свободный, как птица… Понимает ли он, что ему даруется судьба, служение, записанное на звездной скрижали неба? Стрелец: пять звезд, пять знаков, проступающих темной ночью голубоватым мерцанием в глубине окружающей нас великой загадки; страж тьмы, метеоров, проносящихся мимо с сухим шорохом, льдистого поблескивания огромных холодных планет, кружащих в вечном сумраке далеко от Земли. Увы, запись не прочитана, пророчество не исполняется. Проходит лет двадцать пять. И в какой-то из вьюжных дней – вернее ночей, ибо полярная ночь уже наступила – Стрелок, ставший начальником вертолетной площадки в Бугрино, выпивает лишнего, и тут вдруг рация оживает, во тьме слышится хрип, хруст, пеленги и ему на голову сваливается борт, везущий какое-то начальство. И он выходит с лампою во тьму, чтобы быть маяком пилоту; но то ли ветер слишком суров, то ли выпитый спирт слишком крепок – его носит по дощатому настилу от края к краю; он пытается удержаться на ногах, усердно сигналит лампой, но – гром и молния! – бушующий грохот винта опрокидывает его, он падает…

Впрочем, неглубоко. Становится работником местной станции радио-телевизионной связи. Включив паяльник и дымя канифолью, сидит среди серых металлических аппаратов, черных ручек, светящихся шкал. Курит папиросу, вслушиваясь в невнятные позывные и шорохи мира. В радиотехнике он понимает не очень, но все же достаточно, чтобы надеяться унаследовать все это хозяйство от ворчливого богатыря со шкиперской бородой, который собирается – в который уж раз! – бросить все и уехать на родину, в Питер, а пока старательно чинит все подряд – часы, электрочайники, радиоприемники и телевизоры, понимая (или не понимая?) что в северной столице вряд ли кому понадобится его островное умение, ибо там никто не ремонтирует уже все эти «Спидолы», «Рубины», «Темпы» и «Каравеллы», которые он на острове изучил, как свои пять пальцев…

Вправе ли мы предположить, что Стрелок прожил жизнь свою не так, как нужно было, обжившись в половине барачного дома, родив четверых детей и выстроив, к тому же, баню во дворе? Более того – разве обязан он был лишь за то, что однажды силуэт его с луком в руке запечатлен был художниками – дорисовывать свою жизнь по их эскизу?

Нет, обязательств такого рода безумием было бы требовать от него, ибо мы знаем, мы усвоили, что человек свободен…

Если бы еще понять – в чем?

И можно ли задавать такие вопросы без риска впасть в хамское высокомерие по отношению к человеку, который с первого слова доверился и обрадовался тебе?

И можно ли совсем не задаваться такими вопросами?

Где тот чудный остров, о котором ты рассказала, Ада?

Где прекрасная ясность Севера, где все эти люди – Уэско, Таули, Иде – или с ними стало то же, что со Стрелком, а имена их выцвели и стали обычными русскими именами? Где юная красавица Ларчи, которая когда-то, плененная невиданной красотой Анны Маньяни в итальянском фильме, каким-то чудом угодившим на остров, в белых туфельках-лодочках мечтательно прогуливалась по пляжу по подмерзшей пене прибоя? И где тот пляж, по которому без риска распороть или сломать себе ногу можно было прогуливаться в туфлях, а не в кирзовых сапогах? Где тот маленький гостеприимный поселок, Ада? Или за тридцать лет он успел превратиться в зону бедствия, разросся и расползся, как гниющее мясо? Где фактория,

Ада? Где мореходный бот? Где олени, упряжки, игры, беспечный смех, песни? Скажи – все то, о чем ты написала, неправда? Скажи честно, Ада! Или за тридцать лет все так изменилось, что твоим словам невозможно поверить?

Шагая, он чувствовал щемящую боль в сердце. Снова стал накрапывать дождь. Неожиданно он скорее почувствовал, чем услышал, легкие нетвердые шаги, дрожь которых догоняла его по мосткам. Он обернулся, увидел сзади две женские фигуры. Чуть-чуть прибавил ходу: шаги отстали. Запереть дверь в гостиницу было нельзя (запиралась только его комната) и едва он успел поставить на кухне воду, чтобы сварить вермишель с тушенкой и, наконец, поесть, как те же самые шаги – легкие, почти крадущиеся – раздались в коридоре. Женщины остановились на пороге. Одна лет тридцати, с забинтованным ухом. Другая постарше.

Долго молчат. Потом старшая с сердцем вздыхает:

– Молодой человек, сто грамм.

– Нет. У меня ничего нет. Ни грамма. Даже одеколона…

Молча глядят на него. Молодая понимает, что дело не выгорит. Просит воды. Жадно пьет сырую желтую воду, что он натаскал днем из болота.

Старая, еще надеясь, издает стон:

– Есть сёмга, сёмга…

Все рушилось к черту.

Он поел и, чтобы не дать задушить себя отчаянию и жалости к этим людям, взял дневник. Толстую серую тетрадь, уже вполовину исписанную: он слишком долго добирался сюда и слишком дорогую цену заплатил, чтобы плюнуть на все и – поскольку улететь пока все равно не удастся – тупо ждать вертолет с ощущением, что мечта обманула его. В этом было бы что-то до невозможности пошлое…

Нет. Старуха права, и даже в пренебрежении ее, граничащем с презрением, несомненна правда: если уж ты прибыл на Остров, то будь добр, попытайся, добудь что-нибудь сам, а нечего хватать объедки с чужого стола, нечего совать нос в чужое прошлое…

«…Ада и Володя совершили великое дело: они сотворили миф. И если уж ты попался на эту удочку, то тебе ничего не остается, как сотворить свой. Ведь выбора нет. Ты вовлекся? Вовлекся. Испуг миновал. И уже мысленно ты разметил этот остров по системам координат, вписал в пробел между малой планетой Колга под № 191 и индийским княжеством Колхапур в „Ларуссе XX века“… Остров собрался для тебя из разрозненных кусочков: из книги Ады и рисунков ненецких детей; завязавшихся знакомств; пережитых страхов и тех мимолетных мгновений истины, когда солнце вспыхивает над морем и кажется, что из глубин его всплывает огромное зеркало…

Пожалуй, этого маловато для мифа, но достаточно для того, чтобы покончить с бегством. Потому что это убегание в никуда – обычная для расщепленного сознания развилка, бесконечно двоящийся путь, который в любом случае заканчивается тупиком.

Миф – свобода, красочность, цельность. Осмысленность.

Попробуй-ка, добудь это здесь, на свалке человеческих судеб; попробуй, отыщи что-нибудь стоящее там, где с первого взгляда всё внушает лишь отвращение… Но ведь Ада смогла? Смогла. И Корепанов смог: полюбить этот остров вопреки всему. Похоже и у тебя нет шанса кроме любви: может быть именно ты, Беглец, лучше других поймешь это…»

Похоже, само написание слов успокаивало его. Покончив с записями и захлопнув дневник, он выглянул в окошко кухни: в голубоватом сумраке ночи трава под окном казалась черной, только ромашки мелкими звездочками белели в ней.

Около полуночи он вдруг услышал, как где-то вдали оборвался привычный звук работающего дизеля. Тотчас же погас свет. Тогда он встал, надел куртку, шапку, рассовал по карманам нож, спички и сигареты, замкнул дверь своей комнаты и вышел из гостиницы. Чтоб не попадаться никому на глаза, сразу спустился к морю, но, кажется, предосторожность была излишней: поселок спал. Он был один, совершенно один на пляже. Море опять отступило, обнажив расставленные у берега камбальные сети с застрявшей в ячеях морской травой. Над морем тихо светила луна. В её свете серый песок под ногами казался голубоватым и он ступал осторожно, словно боялся пробудить звуки дня и нарушить хрупкую тишину ночи.

Он пошел в сторону реки, где еще не был. На высоком берегу за поселком на фоне глубокой, но прозрачной синевы неба заметил несколько надмогильных крестов, а едва миновав их, на песке перед собою – остров деревянного карбаса, собственно говоря, только крепкий деревянный киль, вытянутый словно позвоночник выброшенного на берег кита. Поблескивая жесткими лезвиями, шевелилась под ветерком трава. Вскоре высокий берег отступил и он очутился на длинной низкой песчаной косе, в устье речной долины, отороченной темными холмами, из-за которых будто жидкое олово изливалась река, устремляясь к морю. Море было ровно, как лед, и только вдали, в гуще ночного сумрака, раздавались глухие удары прибоя на отмелях.

Невероятным спокойствием веяло от этого пейзажа. Он прошел немного вглубь острова вдоль реки и, добравшись до высокого берега, влез на холм, ища укрытия от сквозящего долиной реки холодного ветра. Здесь было несколько ям, похожих на следы то ли землянок, то ли окопов. Забравшись в одну из них, он закурил. Он сидел так долго, куря сигарету за сигаретой. Постепенно небо светлело: в темную голубизну ночи просачивался с севера чистый желтый свет восхода. В этом свете все четче проступала уходящая вдаль плоскость тундры, на самой границе которой, у горизонта, неровным серым изгибом застыли далекие горы. Он почувствовал, что ему надо туда. Туда, во что бы то ни стало: там билось сердце острова, там, быть может, ждала его собственная легенда.

Жгучий холод возвестил о начале нового дня. Он взглянул на часы: было два часа ночи.

Он чувствовал, как при виде первобытных стихий, сходящихся здесь – темной бугристой земли, разгорающегося неба и воды, которая, причудливо отражая краски небесной палитры, сплетая желтый с голубым, вновь казалась огромным волшебным зеркалом – постепенно нарастает в нем странное чувство. Может быть, причиной была крайняя усталость, которая, наконец, навалилась на него, а может быть, в самом деле невероятны были краски этой лунной ночи на краю земли – но только вдруг он ощутил, что узнает Север – тот Север, которого никогда не видел, но по которому не переставал тосковать… Будь у него с собой «Саламина» Рокуэлла Кента, он бы не удержался, и возложив книгу, словно на алтарь, на плоский сколок песчаника, прочел бы вдохновенный гимн, неясными, счастливыми и грозными словами которого звучала его душа: «Господи, я *люблю* эту бесплодную землю!»

Перед ним был мир без границ. Мир легенды. Мир художества. Мир свободы.

Свобода столь же мало нуждается в определении, как любовь. И так же много значит. Это требование природы, Требование прорыва, броска; именно броска как прыжка: ты прыгаешь, ты решаешься, и тебе дела нет, осознана ли другими эта необходимость. Ты преодолеваешь все страхи – и, собственно, дальше не имеет значения уже ничего – разобьешься ты или нет, правильно или неправильно ты поступил. Потому что ты поступил – именно в этот, редчайший в жизни раз – отбросив всякие опасения. Вот это и есть свобода…

Кутаясь в куртку, продрогший до костей, двинулся он в обратный путь, теперь уже различая на песке следы заигравшегося ветра, следы, которые оставляет вода в своем попятном движении к морю. Эти следы, эти узоры казались ему значительными, как непонятные древние письмена. Но разве не древнейшие ваятели без устали творили их, покрывая песок тончайшей сканью – кажется лишь для того, чтобы через несколько часов, смыв сотворен-

ное приливной волной, вновь приступить к работе, играючи бахвалясь друг перед другом своим мастерством?

Он вернулся в гостиницу смертельно усталый и совершенно счастливый.

На следующее утро весь поселок знал, что к ним приехал чужак из Москвы, который расспрашивает про Аду и Володю. Нашлись даже такие, что не прочь были поделиться воспоминаниями о былом, но когда его хватились, оказалось, что он исчез.

Кто-то видел его возле пекарни, загружающим хлеб и дрова в вездеход, отправляющийся к оленеводам в тундру. Действительно, через три дня он вернулся, сидя на крыше вездехода вместе с детьми бригадира, Егора, которые после лета, проведенного в тундре, возвращались в поселок, чтобы через день-другой спецрейсом улететь в интернат в Нарьян-Мар. В тот же вечер его видели пьяным вместе с Михайлычем, начальником станции космической связи. Михайлыч сказал, что спирт его был хорош, но сильно отдавал резиной от пробки фляжки.

Больше ничего о Беглеце неизвестно.

Неизвестно, зачем он ездил в тундру и что там произошло. Там была горячая работа, много парней, много оленьей крови. Случиться могло всякое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.